

ПЕТР ВЯЗЕМСКИЙ

СТАРАЯ ЗАПИСНАЯ
КНИЖКА. ЧАСТЬ 1

Старая записная книжка

Петр Вяземский

Старая записная книжка. Часть 1

«Public Domain»

1825

Вяземский П. А.

Старая записная книжка. Часть 1 / П. А. Вяземский — «Public Domain», 1825 — (Старая записная книжка)

«Много скучных людей в обществе, но вопрошатели для меня всех скучнее. Эти жалкие люди, не имея довольно ума, чтобы говорить приятно о разных предметах, но в то же время не желая прослыть и немыми, дождят поминутно вопросами кстати или некстати сделанными, о том ни слова...»

Содержание

| | |
|-----------------------------------|----|
| Музыка и живопись | 13 |
| Конец ознакомительного фрагмента. | 85 |

Петр Вяземский

Старая записная книжка. Часть 1

Много скучных людей в обществе, но вопрошатели для меня всех скучнее. Эти жалкие люди, не имея довольно ума, чтобы говорить приятно о разных предметах, но в то же время не желая прослыть и немыми, дождят поминутно вопросами кстати или некстати сделанными, о том ни слова. Не можно ли их сравнить с будочниками, которые ночью спрашивают у всякого прохожего: кто идет? Единственно для того, чтобы показать, что они тут. Вольтер, встретясь однажды с известным охотником до пустых вопросов, сказал ему: очень рад, что имею удовольствие вас видеть; но сказываю вам наперед, что ничего не знаю.

* * *

– Не понимаю, – сказала недавно Селимена, с которой разговаривали о петербургских актерах, игравших на Московском театре, – как здешняя публика могла осыпать рукоплесканиями А...?

– Что же находите в этом удивительного? – отвечал ей Оргон, – всякий готов ласкать и обезьяну любимой женщины. Известно, что А... – муж славной Филисы.

* * *

Один остроумный мизантроп, пишет Шанфор, рассуждая о развращении людей, сказал: Бог послал бы нам и второй потоп, когда бы увидел пользу от первого.

* * *

– Видели ли вы французского короля? – спросил однажды Фридрих у д'Аламбера.

– Видел, ваше величество, – отвечал философ.

– Что же он вам сказал?

– Он со мной не говорил.

– С кем же он говорит? – спросил король с досадой.

* * *

N. смертный сын бессмертной Клио, то есть историк, и, надобно прибавить, русский историк, находился однажды в обществе, в котором рассуждали о Вольтере; всякий своим образом хвалил сего великого писателя.

N. спорил со всеми, наконец сказал: согласен, государи мои: Вольтер писал изрядно; верьте однако, что я никогда не простил бы себе, если бы мог усомниться, что напишу что-нибудь хуже него.

Что же написал г. N? Бредни о русской истории. Вероятно, что книга Иоанна Масона о познании самого себя была ему неизвестна.

* * *

Галкин, добрый, но весьма простой человек, желает прослыть приятным хозяином – и для того самым странным образом угощает гостей своих.

Например, не умея с ними разговаривать, он наблюдает за каждым их движением: примечает ли, что один из присутствующих желал бы кашлянуть, но не смеет, опасаясь помешать поющей тут даме, – и тотчас начинает, хотя и принужденно, кашлять громко и долго, дабы подать собой пример; видит ли, что некто, уронив шляпу, очень от того покраснел, и тотчас сам роняет стол; потом подходит с торжественным видом к тому человеку, для которого испугал все общество стукотней, и говорит ему: видите ли, что со мной случилась еще большая беда?

Но часто он ошибается в своих наблюдениях. Например, вчерашний вечер, когда мы все сидели в кружке, он вздумал, не знаю почему, что мне хочется встать, и тут же отодвинул стул свой; но, видя, что я не встаю, сел и вставал по крайней мере двадцать раз, и все понапрасну.

И я нынче услышал от одного моего приятеля, что он, говоря обо мне, сказал: он добрый малый, но, сказать между нами, уж слишком скромн и стыдлив.

* * *

Иные любят книги, но не любят авторов – неудивительно: тот, кто любит мед, не всегда любит и пчел.

* * *

Панкратий Сумароков, удачный подражатель Богдановича в карикатурных изображениях, коренной принадлежности русского ума. Где француз улыбнется, русский захохочет. Французская эпиграмма хороша, когда задевает стрелюю. Русская, когда хватит дубиною или ударит топором. Французские глаза любят цвета нежные, но с красотью переливающимися; русские радуются краскам хотя и грубым, но ярким. Посмотрите на наши комедии: тут уму нечего догадываться, зрителю дополнять. Все не в бровь, а в самый глаз; все так глаза и колет; все высказано, выпечатано и перепечатано. То же можно сказать и о комическом духе немцев, англичан, испанцев, с той только разницею, что у нас один истинный комик, Фон-Визин, и то в одной комедии, а у тех существует театр народный.

Покойный Жолковский, лучший комический актер Варшавского театра, на обвинение, делаемое ему, что он иногда слишком плотно шутит, отвечал: «Вы живописцы образованные, не знаете ремесла театральных маляров; я зрителей своих знаю. Мои декорации, слишком грубо писанные для вас, глядящих на них вблизи или сквозь искусственное стекло, издали только что в пору для них». Многие из читателей наших также читают издали. Излишние утонченности ускользают от них. Они не любят бледной, воздушной красоты ни в телесном, ни в духовном: давай им красоту дородную, кровь с молоком.

* * *

Я уверен, что злые поклонники солнца радуются пасмурному дню. При таком свидетеле и судьбе мудрено пуститься на худое дело. Солнце для них то же, что деревянные головы, вставленные в потолок в Краковском судилище, которые, как рассказывает предание, зывали к царю: «Будь справедлив!» Хорошо и каждому из нас завести бы у себя хотя по одной такой голове. «На то есть совесть», скажете вы. Конечно, тем более что у многих она одеревенела не хуже деревянной башки.

* * *

Мало иметь хорошее ружье, порох и свинец; нужно еще уметь стрелять и метко попадать в цель. Мало автору иметь ум, сведения и охоту писать; нужно еще искусство писать. Писатель без слога – стрелок, не попадающий в цель. Сколько умных людей, которых ум притупляется о перо. У иного зуб остер на словах; на бумаге он беззубый. Иной в разговоре уносит вас в поток живости своей; тот же на бумаге за душу вас тянет. Шаховский, когда хочет вас укусить, только что замуслит.

* * *

Слова – условленные знаки мыслей. Иные имеют в глазах наших цену существенную, весовую и утвержденную временем и употреблением; другие вводятся в язык насильственно, и цена их условная. Государство не имеет довольно звонкой монеты; оно прибегает к ассигнациям. Язык не имеет довольно коренных слов; он прибегает к словам составным или относительным. Для монет есть монетный двор, для слов есть Академия; но она не выбивает новых слов, а только свидетельствует и клеймит старые. Академия – пробная палатка, но рудники – писатели.

Когда годится ассигнация? Тогда, как пустившие ее в ход за нее отвечают и силой, или доверенностью, или другими средствами убеждают других почитать ее тем, чем он ее выдает. Или возьмем в пример марки клубные, или городских касс, употребляемые в иных клубах и городах: вне общества, вне города они не имеют никакой цены, но в известном круге эти марки почитаются настоящими представительными знаками денег и наравне с ними в ходу. Отчего же бы по этому примеру нельзя новому поколению дополнить неимущество своего языка условленными звуками, преобразовавшимися в слова, долженствующие также, в свою очередь, образовать глазам и ушам понятия, еще не имеющие выражения на языке?

В финансовых производствах скудость в представительных знаках, в соразмерности с потребностью, вознаграждается удвоением, утроением знаменования представителя: то есть рубль делается рублями, и так далее. В языке этого делать нельзя, или по крайней мере не должно. Слово, имеющее два, три значения, не годится ни на одно значение. Как же помочь? Иностранных слов брать не велят: от сего займа терпит народная спесь. Заметим, однако же, мимоходом, что голландские червонцы у нас в ходу: кажется, было бы и слово чистого золота, то брезговать не к чему. Хуже отказываться от выражения понятий нам сродных потому только, что они не приходили в голову нашим предкам и чужды были их веку.

Как этимологи ни мучься над родословием слов – но все многие слова – звуки, выраженные наудачу, подкидыши на распутий ума человеческого, которые после того сделались приемышами, а там уже усыновлены и узаконены порядком. Зачем же нам оставаться бездетными? Мы боимся подставочным поколением оскорбить наследственные права старших братьев, которые, если разбирать строго, может быть, окажутся еще их беззаконнее. В дипломатике употребляют же цифры произвольные, не заботясь о том, что никакая грамматика, никакой Словарь Академический не дали знакам этим права гражданства. Дело в том, чтобы понимать друг друга.

Какое же вывести заключение из всего сказанного? То, чтобы в случае недостатка слов для выражения понятий, для наименования вещей, нам равно необходимых, равно свойственных, решились бы хотя на каком-нибудь съезде писателей выбить из известных слов и звуков новые слова и без околичностей внести их в общий словарь русского языка.

Признаюсь, выведенное заключение несколько напугать может и не робкую душу самого отчаянного неолога! Но как же помочь в беде? Впрочем, обращаюсь к своему эпи-

графу и укрываюсь в его засаде: «Кидаю мысли свои на бумагу, и справляйся они, как умеют».

* * *

Я нашел у старика Сумарокова прекрасное слово: *зablужденники*, которое тщетно после того искал и в Словаре Академическом, и в других писателях. Подобные прилагательно-существительные – совершенная находка: у нас в них недостаток, а они выразительны и полновесны.

* * *

«Витийство лишнее природе злейший враг», сказал в ответ на оду Майкова тот же Сумароков, у коего вырывались иногда стихи не красивые, но правильные и полные смысла, а особливо в сатирах. Вот примеры:

Пред низкими людьми свирепствуй ты как черт,
Простой народ и чтит того, кто горд.

(*Наставление сыну.*)

Мой предок дворянин, а я неблагороден.

(*О благородстве.*)

Но чем уверят нас о прабабках своих,
Что не было утех сторонних и у них.
«Сторонних утех» забавное и счастливое выражение.
Один рассказывал: другой заметил тож:
Все мелет мельница: но что молола? Ложь.

(*О злословии.*)

Если издатели *Образцовых Сочинений* с умыслом переменили стих Сумарокова о невеждах, в сатире: *Пицца и его друг*:

Их тесто никогда в сатире не закиснет,

на:

Их место никогда в сатире не закиснет,

то двойною виной провинились они: против истины и поэзии. Выражение Сумарокова не щеголевато, но забавно и точно. *Место* не закиснет не имеет никакого смысла. Иногда же он в сатирах своих просто ругается; иногда, по нынешнему, либеральничает и крепко нападает на злоупотребления крепостного владения, например:

Ах! Должно ли людьми скотине обладать?
Не жалко ль, может бык людей быку продать?

* * *

«Тело врага умершего всегда хорошо пахнет», сказал Вителлий и повторил Карл IX. Случалось ли вам радоваться падению соперника, лакомиться чтением дурного сочинения неприятеля вашего, заслушиваться рассказа подробного о непохвальном поступке человека, который сидит у вас на шее и на сердце? Случалось ли? Верно: да! Случалось ли в том признаваться? Верно: нет! Итак, не гнушайтесь вчуже чувством Вителлия и Карла, а только дивитесь их нескромному признанию.

* * *

Веревкин, сочинитель комедий: *Так и должно* и *Точь-в-точь*, которая, как говорят, осмеивала некоторых из симбирских лиц и была представлена в их присутствии. Переводчик *Корана*, издатель многих книг, напечатанных без имени, а только с подписью деревни его: Михалево, сделался известным императрице Елизавете следующим образом. Однажды, перед обедом, прочитав какую-то немецкую молитву, которая ей очень понравилась, изъявила она желание, чтобы перевели ее на русский язык. «Есть у меня человек на примете, – сказал Шувалов, – который изготовит вам перевод до конца обеда», – и тут же послал молитву к Веревкину.

Так и сделано. За обедом принесли перевод. Он так полюбился императрице, что тотчас же или вскоре затем наградила она переводчика 20 000 рублей. Вот что можно назвать успешной молитвой.

Веревкин любил гадать в карты. Кто-то донес Петру III о мастерстве его: послали за ним. Взяв в руки колоду карт, выбросил он искусно на пол четыре короля. «Что это значит?» – спросил государь.

«Так фальшивые короли падают перед истинным царем», – отвечал он. Шутка показалась удачной, а гадания его произвели сильное впечатление на ум государя. И на картах ему посчастливилось: вслед за этим отпустили ему долг казенный в 40 000 рублей.

Император сказал о волшебном мастерстве Веревкина императрице Екатерине и пожелал, чтобы она призвала его к себе. Явился он с колодой карт в руке.

«Я слышала, что вы человек умный, – сказала императрица, – неужели вы веруете в подобные нелепости?»

«Нимало», – отвечал Веревкин.

«Я очень рада, – прибавила императрица, – и скажу, что вы в карты наговорили мне чудеса».

Он был великий краснбай и рассказчик, много жила в деревне, но когда приезжал в Петербург, то с шести часов утра прихожая его наполнялась присланными с приглашениями на обед или вечер: хозяева сзывали гостей на Веревкина. Отправляясь на вечеринку или на обед, говорят, спрашивал у товарищей своих: «Как хотите: заставить ли мне сегодня, слушателей плакать или смеяться?» И с общего назначения то морил со смеха, то приводил в слезы.

Это похоже на французских говорунов старого века. Шамфор, Рюльер также были артисты речи и разыгрывали свой разговор в парижских гостиных по приготовленным темам.

Веревкин когда-то написал шутку на Суворова, в которой осмеивал странные причуды его. Суворов знал о ней. Веревкин был в военной службе, а после – действительным статским советником; был в дружеской связи с Фон-Визином и уважаем Державиным, который был учеником в Казанской гимназии, когда Веревкин был ее директором. «Помнишь ли, как ты

назвал меня болваном и тупицей?» – говаривал потом бывшему начальнику своему тупой ученик, переродившийся в статс-секретаря и первого поэта своей нации. (Рассказано мне родственником его, генералом Веревкиным, который после был комендантом в Москве.)

* * *

Напрасно Шлегель говорит в своей драматургии: «Если Расин в самом деле сказал, что он отличается от Прадона единственно тем, что умеет писать, то жестоко был к себе несправедлив».

Конечно, должно дополнить это мнение, но помнить притом, что Расин сказал это во Франции: слог у французов первая необходимость; у немцев, уже по другой крайности, он часто последнее условие. В искусствах нельзя не ценить отделки: немцы же все ценят на вес. Поэтому и суждения Шлегеля о французском театре часто ошибочны и пристрастны: он судил о нем, и вообще немцы судят о французской литературе не как знатоки или охотники, но как заимодавцы под вещи. Французы выше всего ставят ясность и щегольство слога; Корнель на театре их почти позабыт. Грубый стих, дикое выражение в глазах их грех неискупимый и переживает, то есть хоронит, целую поэму.

Ломьер, автор поэм и трагедий, в которых есть точно существенное достоинство, известен у них частой стычкой несладкозвучных согласных, шероховатостью и проч. Нет француза, который не знал бы этих стихов его:

Crois – tu tel forfait Manco-Capac d'capable?
И Opera sur roulette et qu'on porte a dos d'homme.

И никто уже не заглядывает в его творения, оглашенные подобными стихами. Уши немцев уживчивее. Вообще иностранцу можно, как наблюдателю, говорить о словесности чуждого народа, но никогда не должно позволять себе излагать о ней судейские приговоры. В рассмотрении тяжбы подсудимого должно держаться уложения, которому он подлежит, а нельзя со своими законами идти на управу в чужую землю.

* * *

Если не признавать цены отделки, вкуса, свойственного такому-то народу и такому-то веку, как постигнуть уважение древности к Анакреону? О нашем уважении уже не говорю: оно суеверие и присвоено нами по преданию. Переводить сухой прозой Анакреона – то же, что переложить на русские слова каламбуры маркиза Биевра; а Гораций все еще жив во французском переводе, как ни душит его прозаик Баттё.

* * *

В той же комнате Английской гостиницы варшавской, в коей Наполеон после бедственного русского похода давал свою достопамятную аудиенцию Прадту и некоторым полякам, был положен, спустя несколько месяцев, труп Моро, во время перевоза бранных останков его в Петербург. У судьбы много таких драматических выходов.

* * *

Одно из любимых чтений Кострова было роман *Вертер*. Когда он бывал навеселе, заставлял себе читать его и заливался слезами. Однажды в подобном положении, после чтения продиктовал он любовное письмо, во вкусе *Вертера*, к прежней своей возлюбленной. Жаль, что не сохранился сей любопытный памятник переводчика *Илиады*.

Костров не любил стихов Петрова: за чашею или после чаши всегда слушал их с удовольствием. Он был истинный чудак, и знавшие его коротко рассказывают о нем много забавных странностей. Бывало, входит он в комнату приятелей своих в шляпе треугольной, снимет для поклона и снова наденет на глаза, сядет в угол и молчит. Только когда услышит от разговаривающих речь любопытную или забавную, то приподнимет шляпу, взглянет на говоруна и опять ее насунет.

Он так был нравами непорочен, что в доме Шувалова отведена была ему комната возле девичьей. Однажды входит к нему Дмитриев и застаёт его на креслах перед столом, на коем лежит греческий Гомер, в пергаменте, возле Кострова горничная девушка, а он сшивает разные лоскутки. «Что это вы делаете, Ермил Иванович?» – «А вот девчата понадовали мне лоскутья, так сшиваю их, чтобы не пропали». Добродушие его было пленительное.

Его вывели на сцену в одной комедии, кажется, ныне покоящейся на обширном кладбище нашего *Российского Феатра*, и он любил заставлять при себе читать явления, в коих представлен он был в смешном виде. «Ах! Он пострел, – говаривал он об авторе, – да я в нем и не подозревал такого ума. Как он славно потрафил меня!»

Карамзин встретился с ним в книжной лавке, за несколько дней до кончины его. Он был измучен лихорадкой. «Что это с вами сделалось?» – спросил его Карамзин. «Да вот какая беда, – отвечал он, – всегда употреблял горячее, а умираю от холодного».

Он сказывал о себе, что он сын дьячка, но на первой оде его напечатанной выставлено, что сочинена крестьянином казенной волости. (Все сказанное о Кострове слышано от И. И. Дмитриева.)

* * *

Скоро наскучишься людьми, у коих душой бывает ум: надежны одни те, у коих умом душа. Вовенарг сказал: мысли высокие истекают из сердца. Можно прибавить: и приемлются сердцем. Слова человека с умом цифры: их должно применять, высчитывать, проверять; слова человека с душой деяния: они увлекают воображение, согревают сердце, убеждают ум.

* * *

Женщины господствуют в жизни силой слабостей своих и наших. Они напоминают изваяние, представляющее Амура, который обуздал льва. Он царь; но дитя сел ему на шею.

* * *

О Хераскове можно сказать, что он сохранил до старости холодность, заметную в первых стихах его молодости.

* * *

Музыка и живопись

Музыка – искусство независимое, живопись – подражательное и, следовательно, подвластное. Последняя говорит душе посредством глаз и действует преимущественно на память, уподоблением с тем, что есть и что мы видели или могли видеть. Первая только по условию покорилась определенным формам, но по существу своему она всеобъемлюща. Есть музыка без нот, без инструментов. В живописи все вещественно: отнимите кисть, карандаш, и она не существует. Живое в ней – оптический обман. Истинное в ней – краски, кисти, холст, бумага – мертвое. В музыке обман то, что в ней есть мертвое. Ноты – цифры ее, соображение строев, созвучий, математика их, все это условное, безжизненное. Живое в ней почти не осязается чувством. Живопись была сначала ремеслом, рукодельем: уже после сделалась она творением. Музыка творение первобытное, и только из угождения прихотям, или недостаткам человеческим сошла она в искусство. Шум ветров, ропот волн, треск громов, звучные и томные переливы соловья, изгибы человеческого голоса, вот музыка доверменная всем инструментам.

Живопись – наука; музыка – способность. Искусство говорить наука благоприобретенная; но дар слова – родовое достояние человека. Не будь частей речи, не будь слов, не менее того были бы звуки неопределенные, сбивчивые, но все более или менее понятные для употребляющих; не будь нот, генерал-баса, а все была бы музыка.

Музыка – чувство; живопись – понятие. В первой чувство родило понятие; в другой от понятий родилось чувство. Господствующее сродство музыки с нами: ее переходчивость. Мы симпатизируем с тем, что так же минутно, так же неутвердимо, так же загадочно, неопределенно, как мы. Звук потряс нашу душу – и нет его, наслаждение обогрело наше сердце – и нет его.

В живописи видны уже расчет рассудка, цель, намерение установить преходящее, воскресить минувшее или будущему передать настоящее. Это уже промышленность. В музыке нет никаких хозяйственных распоряжений человека, минутного хозяина в жизни. Душа порывается от радости или печали; она выливается в восклицание, или стон. Ей нет потребности передать свои чувства другому, она просто не могла утаить их в себе. Они в ней заговорили, как Мемнонова статуя, пораженная лучом денницы. Вот музыка.

Есть солнце гармонии: оно действует на своих поклонников, согревает и оплодотворяет их гармонической теплотой. Часто слышишь, что живопись предпочитается как упражнение, более независимое от обстоятельств, удобнее, чтобы провести или, как говорится, убивать время, следовательно, прибыльнее для сбывающих с рук его излишество. Тут идет дело о пользе, а я о наслаждении и думать не хочу: говорю о потребности, о необходимости. Горе музыканту или поэту, принимающемуся за песни от скуки. Оставим это промышленникам. Несчастный, уязвленный в душе, как бы ни был страстен к живописи, возьмется ли за кисть в первую минуту поражения; разве после, когда опомнится и покорится рассудку, предписывающему рассеяние. Без сомнения, музыкант и поэт, если живо поражены, не станут также считать стопы или сводить звуки; но ни в какое время, как в минуты скорби душевной, душа их не была музыкальнее и поэтичнее.

Однако же и живопись имеет в нас природное соответствие. Мы часто спускаем взоры с подлинной картины природы и задумчиво заглядываемся на повторение ее в зеркале воды, отражающем ее слабо, но с оттенками привлекательности. Человек по возвышенному назначению ищет совершенства; но по тайной склонности любит в несовершенствах. Неотразимо чувствуя в душе преимущество музыки над живописью, я готов почти применить сказанное мною о живописи к поэзии, в сравнении с музыкой, признавая, однако же, в поэзии

много свойств живописи и музыки. Впрочем, музыка одна и нераздельна (*une et indivisible*), как покойная Французская республика.

В поэзии много удельных княжеств: есть поэзия ума, поэзия воображения, поэзия нравоучения, поэзия живописная, поэзия чувства, которая есть законнейшая, ближайшая к общей родоначальнице – поэзии природы, поэзии вечной. Есть же поэзия без стихов: на стихи без поэзии указывать нечего. В условленном выражении поэзии есть слишком много примеси прозаической. Поэзия – ангел в одежде человеческой; музыка прозрачно подернута эфирным покровом. Она ничего не представляет и все изображает; ничего не выговаривает и все выражает; ни за что не отвечает и на все отвечает. Язык поэзии, стихотворство, есть язык простонародный, облагороженный выговором. Музыка – язык отдельный, цельный. Их можно применить к письменам демотическим (народным) и гиератическим (священно-служебным), бывшим в употреблении у древних египтян. Музыка – усовершенствованные, возвышенные иероглифы: в них все мирские же знаки изображали человеческие понятия. В музыке знаки бестелесные возбуждают впечатления отвлеченные. В поэзии есть представительство чего-то положительного; в музыке все неизъяснимо, все безответственно, как в идеальной жизни очаровательного и стройного сновидения. Что ни делай, а таинственность, неопределимость – вот вернейшая прелесть всех наслаждений сердца. Мы прибегаем к изящным искусствам, когда житейское, мирское уже слишком нам постыло.

Мы ищем нового мира, и вожатый, далее водящий по сей тайной области, есть вернейший любимец души нашей. Этот вожатый, этот увлекатель и есть музыка. Ангелы, херувимы, серафимы, в горних пределах, не живописуют силы Божией, а воспевают ее. Если пришлось бы подвести искусства под иерархический порядок, вот как я распределил бы их: 1-я – Музыка, 2-я – Поэзия, 3-е – Ваяние, 4-я – Живопись, 5-е – Зодчество.

* * *

Что за страсть, если она страдание? Недаром на языке христианском имеют они одно значение. Должно пить любовь из источника бурного; в чистом и тихом она становится усыпительным напитком сердца. Счастье – тот же сон.

Откровенная женщина говаривала: люблю старшего своего племянника за то, что он умен; меньшего, хотя он и глуп, за то, что он мой племянник. Так любим мы свои способности и неспособности, духовные силы и немощи, добрые качества и пороки. Порок, каков он ни есть, все же наш племянник.

* * *

Опытность – не дочь времени, как говорится ложно, но событий.

* * *

Ривароль говорил о союзниках в продолжение революционной войны: они всегда отстают одной мыслью, одним годом и одной армией.

* * *

Мне всегда забавно видеть, как издатели и биографы сатириков ограждают божбами совесть их от подозрений в злости и стараются задобрить читателей в пользу своих литературных клиентов. Не все ли равно распинаться за хирурга в том, что он не кровожадный

истязатель и душегубец; но сатирик – оператор, срезывающий наросты и впускающий щуп в заразные раны.

К тому же не часто ли видим, что писатель на бумаге совершенно другой человек изустно. Забавный комик на сцене может в домашнем быту смотреть сентябром, а трагик быть весельчаком. Ум – вольный козак и не всегда покоряется дисциплине души и нрава. Душа всегда та же; ум разнообразен, как оборотень. Дидерот говорит: «Зачем искать автора в лицах, им выводимых? Что общего в Расине с *Гофоллей*, в Мольере с *Тартюфом!*»

* * *

Лучшая эпиграмма на Хераскова отпущена Державиным без умысла в оде *Ключ*:

Священный Гребеневский ключ!
Певца бессмертной Россияды
Поил водой ты стихотворства.

Вода стихотворства, говоря о поэзии Хераскова, выражение удивительно верное и забавное!

* * *

Чтобы твердо выучиться людям, не подслушивать, а подмечать их надобно. Одни новички проговариваются, но и у самых мастеров сердце нередко пробивается на лице, или в выражениях.

Зашедши в гости, граф Растопчин забыл золотую табакерку в сюртуке; спохватившись, выходит он в переднюю и вынимает ее из кармана. Заметя это, один из лакеев поморщился и сделал губами безмолвное движение, которое выпечтало невольное признание: ах, если бы я это знал!

* * *

Филипп писал Аристотелю: не столько за рождение сына благодарю богов, сколько за то, что он родился в твое время.

Многие классики не столько радуются творению своему, сколько тому, что оно создано по образу и подобию Аристотеля. Один врач говорил про своего умершего пациента: он не выздоровел, но, по крайней мере, умер при всех условиях и предписаниях науки.

* * *

И овцы целы и волки сыты, было в первый раз сказано лукавым волком, или подлой овцой, или нерадивым пастухом. Счастливо то стадо, вокруг коего волки околевают с голода.

* * *

Сколько книг, которые прочитаешь один раз для очистки совести, чтобы при случае сказать: я читал эту книгу! Так делаешь иные годовые визиты, чтобы карточка твоя была внесена вовремя в собрание привратника, оттуда в гостиную и на другой день заброшена в вазу, а если имя твое в чести, то воткнута в зеркальную раму. Видно имя, ноне видать чело-

века; остается заглавие, но ничего из книги не осталось. Не все книги, не все знакомства впрок и по сердцу. Как в тех, так и в других насчитаешь много шляпочных связей. Лишнее знакомство вредит истинной приязни, похищает время у дружбы; лишнее чтение не обогащает ни памяти, ни рассудка, а только забирает место в той и другом, а иногда и выживает пользу действительную.

Теперь много занимаются составлением изданий сжатых (editions compacts); но эта экономия относится только до сбережения бумаги; хорошо, если нашли бы способ сжимать понятия и сведения (впрочем, без прижимки) и таким образом сберечь время чтения, которое дороже бумаги. Как досаден гость не в пору, которому отказать нельзя; как досадно появление книги, которую непременно должно прочесть сырую со станка, когда внимание ваше углубилось в чтение залежавшейся или отвлечено занятием, не имеющим никакой связи с нею.

* * *

По новым усовершенствованиям типографической промышленности во Франции семьдесят томов Вольтера сжаты в один том. Что будет с нами, если сей способ стеснения дойдет до нас? Вообразите себе на месте дородного и высокорослого Вольтера иного словесника нашего или ученого известного, известнейшего, почтенного, почтеннейшего, достопочтенного, по техническим титулам отличия в табели о рангах авторов, употребляемым в языке журнальном, газетном и книжном. Того и смотри, что вдавят его в пять или шесть страниц.

* * *

Ломоносов сказал: *мокрый амур*. Многие из элегий и любовных песен наших писаны под его водяным влиянием. На бумагу авторов сыпались не искры с пламенника амура, а дождевые капли с крыльев его. Мокрый амур, мокрая крыса, мокрая курица (poule mouillée) все это идет одно к другому.

* * *

Никому не весело быть в дураках, а особливо же дураку. По-настоящему, одни умные люди могут попадаться впросак; другие от природы получили тут оседлость. Видим примеры, что дураки попадают в умные люди; как тупое копьё, брошенное чужой силой, они попадают в цель на мгновение, но не имея в себе ни цепкости, ни остроконечности, они своим весом падают стремглав. Подумаешь, что именно для этих людей выдуманно выражение: подымать на смех.

Смотря на современный литературный мир в Европе, может быть, признаешься, что в нем нет богатырей, которые являлись прежде на сцене; но читатели нынешние рассудительнее и многочисленнее прежних. И в таком случае все еще есть перевес на стороне нашего века. Живописна картина нескольких ветвистых исполинов, уединенно разбросанных по обширной равнине; расчетливый же хозяин дорожит более рощею равной, но дружно усаженной деревьями сочными и матерыми.

* * *

Херасков где-то говорит: «Коль можно малу вещь великой уподобить»; и очень можно. В уподоблениях именно приличнее восходить, чем спускаться; но Поэт сказал однако же о луне: «Ядро казалось раскаленно», и на ту минуту был живописцем.

* * *

Херасков чудесное, смелое рассказывает всегда, как дети рассказывают свои сны с оговоркой *будто*:

И будто трубный глас восстал в пещерах мрачных,
И будто возгремел без молний гром в дали,
И будто бурная свирепствуя вода,
От солнечных лучей, как будто от огня.

Будто это поэзия!

* * *

Многих из стихотворцев с пером в руке можно представить себе в виде старухи за чулком: она дремлет, а пальцы ее сами собою движутся и чулок между тем вяжется. Зато на скольких поэтических ногах видим чулки со спущенными петлями!

* * *

Лафонтен, как полагают иные, создал слово басенник, который плодоносит баснями как яблоня – яблоками – *fablier*, qui porte des fables, comme un pommier des pommes. Основываясь на этом словопроизводстве, можно сказать о Хемницере или Крылове: он *басення*, от слова яблоня, а об ином: он баснина, от слова осина. Читая притчи же другого, как не подумать, что они держатся старинного, простонародного значения *притчи*, ошибки, несчастного случая. Без притчи века не изживешь, говорит пословица; а каково же, когда придется весь свой век изжить на притчах? Не в добрый час ему попритчилось, сказал я по прочтении собрания известных притчей.

* * *

В ночь на Иванов день исстари зажигались на высотах кругом Ревеля огни, бочки со смолой, огромные костры; все жители толпами пускались на ночное пилигримство, собирались, ходили вокруг огней, и сие празднество, в виду живописного Ревеля, в виду зеркала моря, отражающего прибрежное сияние, должно было иметь нечто поэтическое и торжественное. Ныне разве кое-где блещут сиротливые огни, зажигаемые малым числом поклонников старины. Это жаль. Везде падают народные обычаи, предания и поверия.

Народы как будто стыдятся держаться привычек детства, достигнув совершеннолетия. Хорошо иным; но зачем отставать от поэзии бабушкиных сказок другим, все-таки еще чуждым прозы просвещения? Право, многим поребачиться еще не грешно. Мы со своей степенностью и нагой рассудительностью смешны, как дети, которые важничают в маскара-

дах, навьюченные париком с буклями, французским кафтаном и шпагой. Крайности смежны. Истинное, коренное просвещение возвращает умы к некоторым дедовским обычаям. Старость падает в ребячество, говорит пословица; так и с народами; но только они заимствуют из своего ребячества то, что было в нем поэтического. Это не малодушие, а набожная благодарность. Старик с умиленным чувством, с нежным благоговением смотрит на дерево, на которое он лазил в младенчестве, на луг, на котором он резвился. В возрасте мужества, в возрасте какого-то благоразумного хладнокровия, он смотрел на них глазами сухими и в сердце безмолвном не отвечал на голос старины, который подавали ему ее красноречивые свидетели. Старость ясная лебединая песнь жизни, совершенной во благо, имеет много созвучия с юностью изящной; поэзия одной сливается с поэзией другой, как вечерняя заря с молодым рассветом. Возраст зрелости есть душный, сухой полдень; благотворный, ибо в нем сосредотачивается зиждительное действие солнца, но менее богатый оттенками, более однообразный, вовсе не поэтический.

Литературы, сии выражения веков и народов, подтверждают наблюдение. Литература, обошедши круг общих мыслей, занятий, истин, выданных нам счетом, кидается в источники первобытных вдохновений. Смотрите на литературу английскую, германскую: Шекспир, утро; Поп, полдень; Вальтер Скотт, вечер.

* * *

«Когда я начинал учиться английскому языку, – говорил Вольтер о Шекспире, – я не понимал, как мог народ столь просвещенный уважать автора столь сумасбродного; но, познакомившись короче с английским языком, я уверился, что англичане правы, что невозможно целой нации ошибаться в чувстве своем и не знать, чему радуется (*et a tort d'avoir du plaisir*)».

Ум Вольтера был удивительно светел, когда не находили на него облака предубеждения или пристрастия. В словах, здесь приведенных, есть явное опровержение шуток и объяснений, устремленных тем же Вольтером на *пьяного дикаря*. Будь Шекспир пьяный дикарь, то дикарями должны быть и просвещенные англичане, которые поклоняются ему, как кумиру их народной славы. Дело в том, что должно глубоко вникнуть в нравы и в дух чуждого народа, совершенно покумиться с ним и отречься от всех своих народных поверий, мнений и узаконений, готовясь приступить к суждению о литературе чуждой. Шекспиристы, говоря о трагедиях Расина: «И французы называют это трагедией?» – похожи на французских солдат, которые, не окрещенные при рождении своим русским морозом и незваные гости на Руси, восклицали в 1812 году, страдая от голода и холода: «И несчастные называют это отечеством! (*et les malheureux appellent cela une patrie!*)»

* * *

Слава хороша, как средство, как деньги, потому что на нее можно купить что-нибудь. Но тот, кто любит славу единственно для славы, так же безумен, как скупец, который любит деньги для денег. Бескорыстие славлюбивого и скупого – противоречия. Счастлив, кто, жертвуя славе, думает не о себе, а хочет озарить ею могилу отца и колыбель сына.

* * *

Беда иной литературы заключается в том, что мыслящие люди не пишут, а пишущие люди не мыслят.

* * *

Сумароков единствен и удивительно мил в своем самохвальстве; мало того, что он выставлял для сравнения свои и Ломоносова строфы, и, отдадим справедливость его праводушию, лучшие строфы Ломоносова.

Он еще дал другое доказательство в простосердечии своего самолюбия. В прозаическом отрывке *О путешествиях* вызывается он за 12 000 рублей, сверх его жалованья, объездить Европу и выдать свое путешествие, которое, по мнению его, заплатит казне с излишком; ибо, считая, что продается его шесть тысяч экземпляров, по три рубля каждый, составитя 18 000 рублей; и продолжает: «Ежели бы таким пером, каково мое, описана была вся Европа, не дорого бы стоило России, ежели бы она и триста тысяч рублей на это безвозвратно употребила».

Стихов его по большей части перечитывать не можно, но отрывки его прозаические имеют какой-то отпечаток странности и при всем неряшестве своем некоторую живость и игривость ума, всегда заманчивые, если не всегда удовлетворительные в глазах строгого суда.

В общежитии был он, сказывают, так же жив и заносчив, как и в литературной полемике; часто не мог он, назло себе, удержаться от насмешки и часто крупными и резкими выходками наживал себе неприятелей.

Он имел тяжebное дело, которое поручил ходатайству какого-то г-на Чертова. Однажды, написав ему письмо по этому делу, заключил его таким образом: «С истинным почтением имею честь быть не вам покорный слуга, потому что я Чертовым слугою быть не намерен, а просто слуга Божий, Александр Сумароков».

Свидетель следующей сцены, Павел Никитич Каверин, рассказал мне ее: «В какой-то годовой праздник, в пребывание свое в Москве, приехал он с поздравлением к Н. П. Архарову и привез новые стихи свои, напечатанные на особенных листках. Раздав по экземпляру хозяину и гостям знакомым, спросил он о имени одного из посетителей, ему неизвестного. Узнав, что он чиновник полицейский и доверенный человек у хозяина дома, он и его подарил экземпляром. Общий разговор коснулся до драматической литературы; каждый вносил свое мнение. Новый знакомец Сумарокова изложил и свое, которое, по несчастю, не попало на его мнение. С живостью встав с места, подходит он к нему и говорит: «Прошу покорнейше отдать мне мои стихи, этот подарок не по вас; а завтра для праздника пришлю вам воз сена или куль муки».

* * *

Мнение одного государственного человека, а именно канцлера графа Румянцева, что в характере Наполеона отзывалось некоторое простодушие (*bonhomie*), было в свое время выдано за мнение несообразное и слишком простосердечное. Не поверяя оногo характеристиками Наполеона, начертанными многими из приближенных его, которые посвятили нас в таинство его частной жизни и разоблачили пред нами героя истории, являя просто человека, – можно, кажется, по одному нравственному соображению признать в некоторых отношениях истину приведенного заключения. В поре могущества нечего ему было лукавить; одним лукавством не совершил бы он геркулесовских подвигов, ознаменовавших грозное его поприще; тут нужны были страсти, а страсти откровенны.

* * *

Суворов был остер не одной оконечностью штыка, но и пера; натиск эпиграммы его был также сокрушителен. Он писал однажды об одном генерале: «Он человек честный, воображаю, что он хорошо знает свое ремесло, и потому надеюсь, что когда-нибудь да вспомнит, что есть конница в его армии».

* * *

О некоторых сердцах можно сказать, что они свойства непромокаемого (*impermeable, water-proof*). Слезы ближних не пробивают их, а только скользят по ним.

Отчего это мало-помалу все крадутся в дверь из этой комнаты? Что за гостинная эмиграция? – «Верно N.N. начал там рассказывать анекдоты». Это напоминает мне одно острое слово покойника графа Апраксина, которого, впрочем, весь разговор был фейерверк острых слов.

Назвался к нему однажды обедать знакомый, теперь также покойник, но который при жизни слыл недаром неутомимым и утомительным повествователем. При большой медленности в производстве мыслей, отличался он еще и большею медленностью в произношении слов. «Я пришел просить у вас отпуска на 28 дней», – сказал Апраксин начальнику своему в день назначенного обеда. Что тебе вздумалось, отвечали ему: ты знаешь, теперь не время. «Не управлюсь прежде, – отвечал Апраксин, – у меня сегодня обедает такой-то».

* * *

Английский министр при дворе Екатерины сказал на ее похоронах: *On enterre la Russie* (Хоронят Россию).

Недвижима лежит, кем двигалась вселенна, сказал о ней же Петров в одной своей оде. В царствовании Екатерины так много было обаятельного, изумляющего и величественного, что восторженные выражения о ней натурально и как-то сами собою приходили на ум. Но зато эта восторженность наводила иногда поэтов и на смешные картины. Кажется, Шатров сказал в своем стихотворении на смерть Екатерины:

О ты, которую никто не мог измерить,
Теперь измерена саженью рук моих.

Написать бы картину: Шатров, на коленях пред гробницей императрицы, растягивает руки как землемер или сиделец в лавке бумажных и шерстяных товаров.

* * *

Главный порок в *Душеньке* есть однообразие. Нужно было оживить рассказ игривыми намеками и вставить два-три эпизода. Остроумные, т. е. сатирические или философические вымыслы дали бы целому содержанию более замысловатости и заманчивости. А теперь все наведено одной и той же краской. Строгая критика осудит также встречающееся иногда смешение греческой мифологии с русским народным баснословием, или сказкословием. Особенное достоинство поэмы заключается в легкости стихосложения, разумеется, относительно времени, в которое она была написана. Нигде нет изящности искусства; но зато

часто встречается красивость и прелесть небрежности. В этом он несколько сходится с Хемницером. Жаль также, что с шуток Богданович падает иногда в шутовство. Говоря беспристрастно, *Душенька* цветок свежий и красивый, но без запаха. Впрочем, и то сказать, что обоняние наше стало взыскательнее и причудливее, нежели было оно у наших отцов. Нелединский справедливо замечает, что известный стих *Душеньки*: «И только ты одна прекраснее портрета» – не совсем удовлетворителен: для полноты смысла нужно было сказать, что только она прекраснее *своего* портрета, а не вообще портрета.

* * *

Успех комедии *Мизантроп* – торжество малодушного и развратного века. Мольер хотел угодить современникам и одурачил честного человека; но зато с каким мастерством, искусством и живостью. Краски его не полиняли до нашего времени. Вообще о комедиях его можно сказать, что он был в высшей степени портретный живописец. Лица его верны и живы, как в главных чертах, так и в малейших. О целых картинах его не всегда то же скажешь.

* * *

Шишков, в своем предуведомлении к Тассовым *Бдениям*, говорит: «Впрочем, сохранил ли я достоинство оных и умел ли погрузить в них ту высокоумную горячку, тот великолепный бред, какими преисполнен подлинник, о том не мне судить, но просвещенному читателю».

Унижение паче гордости, господин переводчик! Будьте покойны: и горячки, и бреда найдется у вас в достаточном количестве. Впрочем, известно, что эти *Бдения* подложны и только приписываются Тассу.

Державин, кажется, был чуток к одним современным и наличным вдохновениям. Поэтическая натура его не была восприимчива в отношении к минувшему. В стихах его Петру Великому нет ни одного слова, ни одного выражения, достойного героя и поэта. Некоторые из воспетых им современников были счастливее; но зато Державин был несчастнее. Похвала недостойному лицу не возвышает хваленого, а унижает хвалителя. Впрочем, не следует заключить из этого, что Державин только льстецом был, хотя и сказал, что *раб лишь только может льстить*. Он забыл или не чувствовал, что раб может молчать. «Если бы вы знали, как трудно написать хорошую трагедию», – говорил трагик, которого творения не имели успеха на сцене. «Верю, – отвечал ему собеседник его, – но знаю, что очень легко не писать трагедий». Также легко не писать и похвальных од.

Многие из второстепенных произведений Державина, если не по лирическому движению, живописи и яркости выражения, то, по крайней мере, по мыслям и чувствам, в них выраженным, должны оставаться в памяти читателей. Таковы, например, стихи: *К Храповицкому*, *К графу Валерьяну Зубову*, *К Скопихину*, *Ко второму соседу*, *Мужество* и некоторые другие стихотворения. Читая их, не скажешь, что Державин первый наш лирик, но признаешь в нем мыслящего поэта и поэта-философа.

Знавшим лично Оленина, который был необыкновенно малого роста и сухощав, нельзя без смеха прочесть стих Державина к нему:

Нам тесен всех других покрой.

Иногда стихи его могут соперничать со стихами Хвостова. Например из стихотворения *Звонка*:

Иль в лодке вдоль реки, по берегу пеш, верхом,
Качусь на дрожках я, соседей с вереницей.

По смыслу и течению слов выходит, что он на дрожках соседей катался в лодке по берегу пеш верхом.

* * *

Баснописец Измаилов – подгулявший Крылов.

Критик Болтин был пасынок Кроткова, который из шалости и от долгов распустил слух о своей смерти и выехал из Петербурга в гробе в свою Симбирскую деревню. Молодой Болтин последовал за ним. Попечительный о воспитании его, отчим заставлял его петь в хорах, составленных из дворовых людей, и этим утешал себя на веселых и приятельских попойках. Природные склонности боролись в юноше с силой развратного примера и победили ее. Урывками от пьяных бесед предавался он, наедине и втихомолку, *трезвому пьянству Муз*. Он перевел два тома французской энциклопедии, которая была тогда в большой славе. Наконец обстоятельства его приняли счастливый оборот. Он возвратился в Петербург и посвятил себя любимой своей науке – истории. Любопытно было бы иметь более биографических сведений об этом замечательном человеке.

* * *

О нашем языке можно сказать, что он очень богат и очень беден. Многих необходимых слов для изображения мелких оттенков мысли и чувства недостает. Наши слова выходят сплошь, целиком и сырьем. О бедности наших рифм и говорить нечего. Сколько слов, имеющих важное и нравственное значение, никак рифмы себе не приищут. Например, *жизнь, мужество, храбрость, ангел, мысль, мудрость, сердце* и т. д. За словом *добродетель* тянется непременно *свидетель*; за словом *блаженство* тянется *совершенство*. За слотом *ум* уже непременно вьется рой *дум* или несется *шум*. Даже и бедная *любовь*, которая так часто ложится под перо поэта, с трудом находит двойчатку, которая была бы ей под пару.

Все это должно невольно вносить некоторое однообразие в наше рифмованное стихосложение. Да и слово *добродетель* сложилось неправильно: оно по-настоящему не что иное, как слово *благодетель*. А слово *доблесть* у нас как-то мало употребляется в обыкновенном слоге, да и оно рифмы не имеет. Иностранные слова брать заимобразно у соседей нехорошо; а впрочем, [неразб.] червонцы у нас в ходу, и никто ими не брезгает. В том-то и дело, что искусному писателю дозволяется, за неимением своих, пускать в ход голландские червонцы. Карамзин так и делал. Делают это и англичане.

Вольтер говорил и о французском языке, что он тщеславный нищий, которому нужно подавать милостыню против воли его. А мы вздумали, что наш язык такой богат, что всего у него много и что новыми пособиями только обидишь его.

* * *

Прочтите в *Российском Театре* комедию Крылова *Проказники*, а после некоторые из басней его. Можно ли было угадать в первых опытах писателя, что из него выйдет впо-

следствии времени? Это не развитие, а совершенное перерождение. В *Проказниках* полное отсутствие таланта, шутки плоские и, с позволения сказать, прямо холопские. Впрочем, как комедии Княжнина ни далеки от совершенства, но в *Российском Театре* глядит он исполненным. Комедий Фон-Визина нет в этом старом собрании наших драматических творений.

Вообще комедии наши ошибочно делятся на действия. Можно делить их на главы, потому что действия в них никакого нет. И лица, в них участвующие, называются действующими лицами, когда они вовсе не действуют; а назвать бы их разговаривающими лицами, а еще ближе к делу: просто говорящими, потому что и разговора мало. В наших комедиях нет и в помине той живой огнестрельной перепалки речей, которой отличаются даже второстепенные и третьесортные французские комедии. Правда и то, что французский язык так обработан, что много тому содействует. Французские слова заряжены мыслью, или, по крайней мере, блеском, похожим на мысль. Тут или настоящая перепалка, или фейерверочный огонь.

* * *

Люблю ловить в Хераскове хорошие или, по крайней мере, дельные стихи. Например:

«Ты властен все творить», тебе вещает лезть;
«Ты раб Отечества», вещают долг и честь.

Жаль только, что они сказаны спящему Иоанну, который, проснувшись, едва ли помнил их. Входило ли в голову греческим грациям, Венере, Амуру, что Херасков переселит их в Казанские леса, чтобы играть сердцами смуглых татар и татарок? Наш поэт не заботится в картинах своих о местных красках. Но не будем упрекать его в этом слишком строго, вспомня, что и Мильтона, и Тасса укоряли в подобных недоразумениях и опечатках. Поэтам (но заметим, одним великим поэтам) дозволяется иногда самовосхваление; но надобно, чтобы благородство языка выкупало перед судьями то, что может быть смешным в самохвальстве. Гораций и Державин имели полное право воспеть в прекрасных стихах свою апофеозу. Восторг – открытый лист поэта; но нужно, чтобы этот восторг был бы звучною волной, прямо из свежего и полноводного родника. Но где восторг у Хераскова, когда он в *Россииде* заставляя пустынного Вассиана, упоминая о Трубецком, говорить Иоанну:

Сей род со временем с тем родом соединится,
От коего певец Казанских дел родится:
Увидеть свет ему судьбина повелит,
Где Польшу бурный Днепр с Россией делит.
Прости, коль он тебя достойно не прославит;
Любовь к Отечеству писать его заставит.

С какой стати Вассиану ходатайствовать перед Иоанном за *певца Казанских дел*, словно речь идет о Казанских делах Гражданской или Уголовной Палаты. В другом месте той же поэмы не менее прозаически говорит он о себе:

Вложите плач и стон в сказание мое,
Дабы Царице сей вещал я о судьбине,
Как бедства, страхи, брань умел вещать доньне.

От браней ко любви я с лирой прилетал,
Недовершенный труд моим друзьям читал.

О, если истину друзья мои вещали,
Мои составленны их песни восхищали! и пр.

Мои составленные песни! То-то и беда, что песни в самом деле составлены, а вдохновение не входило в их состав.

Едва ли не главное действие Иоанна в *Российде* заключается в том, что он *взглянул на щит*, данный ему неким старцем, которого он, впрочем, довольно неучтиво и вольнодумно от себя отправил, сказав ему:

Иное быть царем, иное жить в пустыне:
Не делай нам препятств и не кажись отныне.
хотя и признавал в нем мудрость, свыше дарованную, и говорил
ему:
Но ты, премудростью исполненный небесной,
О старче, о делах предбудущих известный.

Безбожие – серпом луна видна среди чела его

– обещает Иоанну державы на Востоке с тем, чтобы он отказался от России и от христианства. Магометанская вера не есть безбожие.

Несмотря на нелепое предложение, Иоанн начинает колебаться и уже

Хотел главу склонить, но вдруг на щит взглянул:
Померкнул щит, и царь о старце вспомнил.

* * *

NN говорит, что главная беда литературы нашей заключается в том, что, за редкими исключениями, грамотные люди наши мало умны, а умные мало грамотны. У одних недостаток в мыслях, у других недостаток в грамматике. У одних нет огнестрельных снарядов, чтобы сильно и впопад действовать своим орудием; у других и есть снаряды, но зато у них нет орудия. Какое же тут выражение, когда многие и многие из этого общества чуждаются пера и не умеют им владеть? У нас была и есть устная литература. Жаль, что ее не записывали. Часто встречаешь людей, которые говорят очень живо и увлекательно, хотя и не совсем правильно. Нередко встречаешь удачных рассказчиков, бойких краснобаев, замечательных и метких остряков. Но все это выдыхается и забывается, а написанные пошлости на веки веков прикрепляются к бумаге.

* * *

История о князе Якове Федоровиче Долгорукове. 2 части. Москва. 1807 – 1808 г. Сочинение Евдокима Тыртова.

Беспорядочная компиляция, начиненная натянутыми сравнениями и формулярным списком всех древних и новейших великих мужей. Все историческое почти целиком извлечено из Голикова. Например: тут напечатаны письма Петра к Долгорукову, *полученные* (как говорит Тыртов) *от неизвестной особы*. Ждешь нового и только заранее сетуешь, что историческая достоверность этих документов может быть поколеблена признанием, что они *доставлены от неизвестной особы*. Но успокойтесь. Далее издатель объявляет, что большая

часть из оных уже издана Голиковым; следовательно, можно было бы только сослаться на книгу его; но, *зная обязанность за доставление, он* (т. е. Тыртов) *с чувствительностью и покорнейшей благодарностью исполняет желание почтенной особы*. Невольно спросишь: как знает он, что ему неизвестная особа есть почтенная особа?

Разговор Людовика XIV есть род экзамена, которому профессор прав подчиняет студента. Говоря об путешествиях Петра, сочинитель в порыве красноречия восклицает: «Какая прекрасная, патриотическая мысль готова прославить кисть наших *Рубенсонов!*» О ком идет здесь речь? О живописце Рубенсе, или о Робинсоне на необитаемом острове?

Далее, изобразив Петра в Сардаме, автор продолжает: «Я воображаю себе целую коллекцию таких картин и представляю при них того из китайцев»... и пр. (в выноске Конфуция). Тут автор влагает в китайские уста русскую речь собственноустного изделия и заключает: «Так бы говорил беспристрастный китайский философ, и кто бы этого не сказал?» Стоило ли родиться и прослыть в далеком потомстве философом, чтобы говорить то, что и каждый сказал бы на его месте?

У нашего автора своя риторика и своя логика. Вот еще выписка: «Ревностная признательность наша к герою князю Я. Ф. Долгорукову не должна казаться неблагодарностью в рассуждении его славных дел». Охотникам до мудреных загадок здесь есть над чем поломать себе голову. Известный анекдот о разодранном указе рассказывается здесь в нескольких вариантах. Сочинитель видел тетрадку, исписанную собственной рукой Долгорукова, и сличал ее с его собственноручными письмами к родным. Как же не печатал он этой рукописи? И где она теперь находится? В конце второй части помещено несколько писем Екатерины II к Долгорукову-Крымскому. В одном из них сказано о курьере, присланном из армии князем: «И как его неприятельская батарея привела в конфузию по вашей реляции, то ему дан крест». Но это может быть и опечатка вместо *контузии*.

Евдоким Тыртов еще известен в книжном мире анекдотами Павла I и похвальным словом Шереметеву. Его История Долгорукова перепечатана была вторым изданием. Есть еще начертание жизни Долгорукова, написанное Бороздиным.

* * *

Картина жизни и военных деяний Российско-императорского генералиссимуса князя Александра Даниловича Меншикова, фаворита Петра Первого. 3 части. 1803 г. Есть и другое издание в IV частях, 1809 г.

Так же, как и предыдущая книга, историческая всякая всячина, историческая окрошка. Нет критического взгляда, нет разумной и нравственной оценки личности и событий. Но книга, в отличие от первой, составлена с некоторым порядком и писана слогом более сносным. Меншиков – русский Мазарини: голова государственная, а дух корыстолюбивый и жадный власти до безграничности. Как королева Анна Австрийская благоволила к одному, так Екатерина I – к другому. В обоих замашка сочетать свою кровь с царской кровью.

Петра нельзя слишком укорять в слабости к любимцу своему, хотя он часто употреблял во зло царское доверие и запятнал себя многими чертами личной корысти и незаконными поступками. Петр не утаивал от суда преступлений любимца своего, что мог бы он, при самодержавии своем, легко исполнить; но после он миловал его, а впрочем, и заставлял часто расплачиваться и вознаграждать ущербы, от него понесенные казной и частными лицами, Петру I для его геркулесовских подвигов нужны были богатырские подмастерья, государственные подгеркулесы. В этом отношении он дорожил Меншиковым и жертвовал иногда государственной нравственностью в пользу того же государства. К тому же он знал, что, где нужно, дубинка его распрямит в свое время кривизны и безнравственности предосудительных действий.

Меньшиков не был при Петре, как было при других дворах и в другие царствования, любимцем по личной державной прихоти. Нет, Меньшиков был в полном смысле сподвижником Петра во всех его предприятиях, и держал он его ввиду предприятий будущих. Закон, осуждая Меньшикова, делал свое дело: Петр, прощая его, пользовался своим правом помилования.

* * *

Обрученные, роман Александра Манзони, 5 томов.

Трудно найти роман полнее этого по твердости создания и по богатству содержания.

Основание романа самое простое, а именно свадьба в XVII веке двух обрученных жителей бедной итальянской деревни, а свадьба все далее и далее отсрочивается силою разных препятствий. И какие же это препятствия? Замечательнейшие исторические события, которые сталкиваются с этой свадьбой или к которым, господствующей силой обстоятельств, прибавается непрерывно эта свадьба. И все это без всякого насильственного напряжения со стороны романиста. Автора, выдумщика нигде не видно: все делается будто само собой; так и кажется, что оно иначе совершаться не могло.

Тут развивается со всеми последствиями своими живая картина безначальства, господствовавшего в Италии во времена самого деспотического, чуждого владычества испанцев: картина утеснений, чинимых помещиками, из коих многие безнаказанно и гласно предводительствовали шайками разбойников, так называемых *брави*, всегда готовых, по движению руки, по слову патрона своего, на всякое злодейство; картина голода, постигшего Миланскую область, и чумы, которая вскоре за ним последовала. Приключения крестьянки Лучии и крестьянина Лоренцио протекают среди сих величественных и ужасных явлений, но вовсе не поглощаются ими. Внимание читателя, сильно и тревожно возбужденное глубокими впечатлениями от исторических событий, пред ним совершающихся, ни на минуту не теряет из вида обрученников и не остывает в участии, которое принимает в судьбе этих двух смиренных личностей. Казалось бы, как не затеряться им в этом бурном потоке? Нет, они везде выплывают и сохраняют подобающее им место в этом обширном повествовании. Искусство автора в соглашении этих трудностей превосходно.

По справедливому замечанию французского критика, «Вальтер Скотт сквозь историю пробивается к роману, Манзони сквозь роман пробивается к истории». Итальянский романист не имеет порыва, драматических движений шотландского. Для итальянца он, так сказать, мало имеет мимики, мало игры движений. В нем ничего нет актерского. Он более хладнокровный повествователь, но зато повествование его плавно, светло и живо. Везде чувствуешь какую-то глубину и непобедимую силу. Драматических выходов, которые одной чертой изображают вам действующее лицо, от него не ждите; но зато каждая черта, каждая строка дополняют изображение.

Как коротко, как близко, хотя и не скоро, знакомишься с Лучией, с Лоренцио, с монахом Христофором, с пастором Аббондиа, с Агнезю, с Дон-Родригом и его кровожадными сателлитами, с Ненареченным (*Innominato*), с великодушным и человеколюбивым кардиналом Боромео. Все эти лица врезаются в память и сердце читателя. Это не мимоходное, не шапочное знакомство, а знакомство навсегда. Как хорош этот добряк, простодушный Лоренцио! Он вдруг нечаянно падает как с неба в возмущение Миланское, возбужденное голодом; он силой обстоятельств, так сказать, физических, теснимый и увлекаемый толпой, выбивается неволью на вид и едва не в предводители возмущения, которое ему совершенно чуждо. И впоследствии правительство недаром признает в нем одного из главных зачинщиков бунта. И простак Лоренцио, не думав, не гадав о том, принужден сделаться политическим беглецом, о котором державы входят в переговоры между собой.

И все это как верно, как натурально! Нигде не видать следов авторской иглы, которая часто сшивает события, как пестрые лоскутья на живую нитку. Романисты обыкновенно надеются, что читатель, обольщенный прелестью рассказа, не заметит искусственной работы. Нет, у Манзони везде видна твердая и никогда даром не двигающаяся рука судьбы. Оно так, потому что должно быть так, а не иначе.

А описание чумы! Читая его, воображение так поддается рассказу, что минутами хочешь бросить книгу от страха самому заразиться, а минутами живым и горячим участием так сближаешься с бедными жертвами, что едва ли не жалеешь о том, что не можешь идти в лазарет, набитый 16 000 больных, чтобы помогать неутомимому *Фра Христофору* и разделять с ним заботы его о больных.

Одно, кажется, несколько противоречит истине, а именно – слишком скорое обращение на путь благочестия страшного Ненареченного, из которого перед русским читателем выглядывает иногда, хотя и не в чертах столь крупно обозначенных, рязанский помещик Измайлов, страх соседей и уездных властей, известный в свое время самоуправством и бесчинствами всякого рода. Но зато как умилительно это обращение, и что за человек этот Боромео: образец христианской добродетели, не идеальной, не мистической, а самой практической и вместе с тем самой возвышенной.

* * *

Красный Корсар, роман американца Купера.

Купер – романист пустынь, влажной и сухой. (В другом романе описывает он американскую степь.) Романы его и отзываются немного однообразием пустыни; но зато есть что-то беспредельное и свежее. Никто, кажется, сильнее и вернее его не был одарен чутьем пустыни и моря. Он тут дома и переносит читателя в стихию свою.

Вальтер Скотт вводит вас в шум и бой страстей, человеческих побуждений; Купер приводит вас смотреть на те же страсти, на того же человека, но вне очерка, обведенного вокруг нас общежитием, городами, условиями их и т. д. С ним как-то просторнее, атмосфера его свободнее, очищеннее и прозрачнее. Малейшее впечатление, которое в сфере Вальтера Скотта ускользнуло бы, здесь действует сильнее и раздражительнее. Чувство читателя изощряется от стихии, куда автор нас переносит. Мы видим далее и глубже. В Купере более эпического, в Вальтере Скотте более драматического, хотя в том и в другом эти оттенки иногда сливаются.

Кажется, степной роман Купера лучше «Корсара», особенно же конец его как-то тянется и стынет. В характере «Корсара» нет ничего человечески-преступного, а потому и ужас, который имя его вселяет, и наказание, которое ему готовится, мало возбуждают наше нравственное сочувствие. Это дело морской полиции, и только. Но зато море – какое раздолье и какая прелесть у Купера! Так и купаешься в этом море. Корабль, все морские принадлежности, вся адмиралтейская часть изображены в живописном совершенстве. Петр I осыпал бы Купера золотом и пожаловал бы его в адмиралы: он так и вербует морю.

В романах Вальтера Скотта в толпе людей не всегда успеешь разглядеть человека; мимо иных действующих лиц проходишь иногда без внимания: оно все обращено на лица, особенно выдающиеся вперед, и на вышины, как обыкновенно водится и в житейском быту. На пустом и обширном горизонте Купера всякое существо рисуется отдельно и цело, все видимое возбуждает внимание, и следишь за ним, пока не скроется оно совершенно из глаз. Общежительный человек скажет: должно жить в мире Вальтера Скотта и заглядывать в мир Купера. Нелюдим (не то что человеконенавистник; нелюдим может и не иметь ненависти к человечеству, а у нас неправильно то и другое слово принимаются в значении мизантропа), нелюдим скажет: должно жить (т. е. любо жить) в мире Купера, а можно для развлечения заглядывать и в мир Вальтера Скотта.

* * *

Записки Генриха де Ломени, графа Бриенского, государственного секретаря в царствование Людовика XVI.

В этих записках менее всего и менее всех на виду выказывается писавший оные. Он не имеет болтливости себялюбия, свойственной составителям записок и автобиографий. С высоты почестей, успехов и силы при дворе и в обществе сей любимец счастья кончает жизнь в темнице св. Лазаря после 10-летнего заточения; и в записках его ничто не разъясняет причин крутого переворота в судьбе его.

Впрочем, записки занимательны живостью рассказа. Но нигде в рассказе не обозначается глубокости ума в наблюдениях; не видно в нем и государственного человека.

Много любопытного о Мазарини: кончина кардинала, драматическая сцена, яркими и живыми красками раскрашенная. Недогадливый министр волочился за знаменитой девицей Лавальер, не примечая, что имел он при ней соперником Людовика XVI. Когда догадался, он пошел с объяснениями к королю, разнежился и расплакался, т. е. просто струсил. Людовик принял слезы за выражение сильной любви и, разумеется, еще более разгневался. Но автор утверждает, что он расплакался только потому, что у него есть природная влажность в глазах и в мозгу (*J'ai les yeux et le cerveau fort humides*).

К этим запискам приложено введение от издателя Барриера: опыт о нравах и обычаях XVII в. – любопытная смесь всякого рода безобразий и бесчинств хваленого, но, впрочем, во многих отношениях славного века. Вот несколько извлечений из этого введения.

Во время осады Турина графом д'Аркурром город страдал от голода. Испанцы всячески старались, но напрасно, пробиться сквозь французские линии, чтобы подать помощь осажденным. По распоряжению главного начальника, испанцы стали начинять бомбы мукой и пускали их в город через французский стан. Между прочими бомбами нашли одну с жирными перепелками и запиской, которую испанский офицер отправил любовнице своей в Турин. Вот замысловатый и новый способ любовной почтовой переписки.

Граф Вилла-Медина, в Мадриде, был влюблен в Елисавету, французскую принцессу, замужем за Филиппом IV. Желая видеть ее в своем доме, он устроил великолепный праздник, на который был приглашен и двор. Вместе с праздником устроил он и пожар. Во время пышного зрелища, которое поглощало общее внимание зрителей, дом загорается. В одну минуту все объято пламенем, все богатства, украшения, картины и т. д. Улучив время, когда каждый бежал, угрожаемый опасностью, Медина, следящий за каждым движением королевы, выхватывает ее из толпы в свои объятия и уносит сквозь пламень, покупая таким образом и ценой фортуны своей счастье прижать на минуту королеву к своей груди.

Когда назначали маршалу д'Юксель голубую ленту, он говорил, что отказывается от сей блестящей почести, если она должна лишить его права ходить в кабак.

Дюк де ла Ферте, под начальством маршала Катина, воевал в Савое. Войска принуждены были довольствоваться скверным туземным вином. Несмотря на то, дюк де ла Ферте потреблял его всегда через меру. Спросили его однажды, как может он пить такое вино и особенно же в таком количестве? «Что же делать, – отвечал он, – надобно уметь любить друзей своих и с их погрешностями». Это напоминает, что однажды Американец Толстой писал из Тамбова: «За неимением хороших сливок, пью чай с дурным ромом».

* * *

О многих прозаических и стихотворных панегириках можно сказать, что они или лопнут, или задушат своего героя. «Это божественно!» – «Что вы говорите? Мало того, это...»

Кто-то прервал начатую похвалу и, разумеется, запнулся, потому что не мог подняться выше. Наши лирики с первого порыва жалуют героя своего в божество, а там, в продолжении, должны поневоле мало-помалу разжаловать его, и тем кончится, как сказано поэтом:

La masque tombe, l'homme reste,
Et le heros s'evanouit, –

два известные стиха Ж. Б. Руссо, худо переведенные и Ломоносовым, и Сумароковым в оде *На Счастье*. Ломоносов говорит: «Геройска похвала увянет, И смертный будет всем открыт». Сумароков: «Все геройство увядает, остается человек».

* * *

Напрасно говорит Шлегель: «Если Расин в самом деле сказал, что он отличается от Праксона только тем, что умеет правильно писать, то жестоко был он к себе несправедлив».

Шлегель забывает, что Расин француз и что выразил суждение свое он во Франции. У французов в творениях ума слог первая необходимость. В противоположной крайности, у немцев, слог последнее условие, на которое немногие обращают внимание. Головоломное понимание авторов не пугает немецкого читателя. А Вольтер сказал в своем опыте о различных вкусах народов: «Французы имеют за себя ясность, точность, изящество (*elegance*)». Баратынский говорит, что для немца мало, «если при чтении книги отзовется она у него в голове, а надобно, чтобы и в спине отозвалась она, т. е. чтобы читатель с трудом поработал над нею». В искусствах нельзя не ценить отделки, а немцы все покупают на вес, потому и суждения Шлегеля о французском театре отчасти неверны и несправедливы. Он также судит о нем не как знаток, а как заимодавец под вещи, т. е. по внутренней их ценности. Вообще иностранцу можно, как наблюдателю, говорить о словесности чуждого народа, но никогда нельзя присваивать себе право решать о ней судебским приговором.

Если не признавать цены отделки, то как постигнуть уважение древности к Анакреону? О нашем и говорить нечего: оно перешло к нам по школьным преданиям. Прозой переводить Анакреона невозможно, переводить его стихами также невозможно. В первом случае вы сушите цветок, который прельстил вас своими красками, блеском и свежестью; в другом хотите вы перенести карандашом на бумагу эту свежесть, этот блеск, эти краски. А Гораций все еще жив во французском переводе, как ни душит его прозаик Баттё. Дело в том, что поэта переживают его мысли и чувства; но красота и прелесть оболочки их верно оцениваются одними современниками.

* * *

У нас жалуются и жалуются по справедливости на водворение иностранных слов в русском языке. Но что же делать, когда наш ум, заимствовавший некоторые понятия и оттенки у чужих языков, не находит дома нужных слов для их выражения?

Как, например, выразить по-русски понятия, которые возбуждают в нас слова *naïf* и *serieux*, *un esprit serieux*? Чистосердечный, просто сердечный, откровенный, все это не выражает значения первого слова; важный, степенный не выражают понятия, свойственного другому; а потому и должны мы поневоле говорить *наивный*, *серьезный*. Последнее слово вошло в общее употребление.

Нельзя терять из виду, что западные языки – наследники древних языков и литератур, которые достигли высшей степени образованности и должны были усвоить себе все краски, все оттенки утонченного общежития. Наш язык происходит, пожалуй, от благород-

ных, но бедных родителей, которые не могли оставить наследнику своему ни литературы, которой они не имели, ни преданий утонченного общежития, которого они не знали. Славянский язык хорош для церковного богослужения. Молиться на нем можно, но нельзя писать романы, драмы, политические, философские рассуждения.

* * *

Некоторые выдержки из Сумарокова доказывают, что у него вырывались иногда стихи правильные и полные смысла. Лучшие стихи его – сатирические. Трагедии его перечитывать нельзя, а между тем они в свое время нравились людям образованным и знакомым с иностранными литературами. Князь Николай Борисович Юсупов, воспитывавшийся в Туринском университете, восхищавшийся трагедиями товарища своего по Туринскому университету Альфиери, не менее того остается верен Сумарокову и признает в нем великого трагика, хотя и соглашается, что язык его устарел. «Вот бы Пушкину (сказал он однажды) несколько поправить и подновить язык трагедий Сумарокова. И тогда можно бы снова представить их на театре».

* * *

Генерал Александр Ламет (Lameth), товарищ Лафазта и одно из главных действующих лиц в событиях первой Французской революции, рассказывает в записках своих следующее:

«У сестры Мирабо назначено было свидание между первенствующими лицами Народного Собрания для переговоров о соглашении и примирении умов, ввиду предстоящих обстоятельств. Мирабо рассказал тут все, что происходило при избрании его в Провансе в число депутатов. В рассказе своем ничего не утаил он из мер, принятых им для достижения успеха; даже признался он, что, имея в руках своих народного оратора, который казался ему преданным, но в котором однако же не мог он быть совершенно уверен, он приставил к нему соглядатя, который не должен был отходить от него и заколоть его, если как-нибудь изменил бы он своим обязательствам.

Мы все ужаснулись подобному признанию, а Мирабо удивился нашему ужасу. «Как, и тот убил бы его?» – спросили мы.

«Да убил бы, как убивают», – хладнокровно отвечал Мирабо.

«Но это было бы ужасное злодейство».

«О, в революциях, – возразил он изречением, которое после того сделалось столь известным, – «La petite morale tue la grande (мелкая нравственность убивает большую)».

* * *

Мирабо, прозванный Мирабо-бочка, был человек очень нетрезвый. Старший брат делал ему однажды упреки за эту слабость. «Помилуйте, на что вы жалуетесь? – отвечал он смеясь. – Изо всех возможных пороков, которые семейство наше присвоило себе, один этот оставили вы на долю мою».

* * *

Han d'Islande («Исландец Ган»), роман Виктора Гюго – род Мельмота, но менее истины и глубины в создании. В прозе те же пороки, что и в поэзии его, т. е. излишняя высокопарность, надутость и желание автора, во что бы то ни стало, поразить читателя чем-нибудь

удивительным и неожиданным. Но иногда те же и красоты. Часто бред горячки, но иногда проявляется, что этой горячкой одержим поэт, а не дюжинный больной. Есть в романе явления сильные, живописные, лица твердые и хорошо обозначенные, например палача, сторожа трупов и дочери одного из действующих лиц. Есть и политический интерес: бунт рудокопов, их военный поход, встреча с королевским войском; все это живо и верно. Тут упоминается и о русском палаче.

По поводу этого романа князь Меншиков называл известного посылкой своей на Кавказ для правительственных преобразований Гана: Nan se Courlande.

* * *

В. Л. Пушкин сказал сегодня стихи на новый год какого-то старинного поэта, помнится, Политковского.

Не прав ты, новый год, в раздаче благостыни;
Ты своенравнее и счастья богини.
Иным ты дал чины,
Другим места богаты,
А мне лишь новые заплаты
На старые мои штаны.

Кажется, эти стихи никогда не были напечатаны.

У нас довольно много подобной ходячей литературы: хорошо бы выбрать лучшие из нее стихотворения и напечатать их отдельной книжкой. В ней сохранились бы и некоторые черты прежней общественной жизни. До 1812 года, была большая рукопись in-folio, принадлежавшая Храповицкому, статс-секретарю императрицы Екатерины. Это было собрание всех возможных стихотворений, написанных в течение многих десятков лет и не вошедших в печать по тем или другим причинам. Разумеется, главный характер этих стихотворений был сатирический, отчасти политический и отчасти далеко не целомудренный. Эта книга затерялась или сгорела в московском пожаре. Тут, между прочим, были стихотворения Карина и за подписью какого-то Панцербитора. Вымышленное это имя или настоящее, не знаю; но в печати оно, кажется, неизвестно.

Много еще неизвестного и темного остается в литературе нашей.

К подобной ходячей литературе можно приписать и следующее четверостишие, которое князь Александр Николаевич Салтыков, вовсе не поэт, отпустил на Козодавлева, тогдашнего министра внутренних дел:

Министр наш славой бы гремел,
И с Кольбертом его потомство бы сравнило,
Из внутренних когда бы дел
Наружу ничего у нас не выходило.

Примите, древние дубравы,
Под сень свою питомца Муз!
Не шумны петь хочю забавы,
Не сладости Цитерских уз:
Но да воззрю с полей широких
На красну, гордую Москву,
Седящу на холмах высоких,

И в спящи веки воззову.

В этих стихах Дмитриева есть движение, звучность, живопись и величавость; но если всмотреться в них прозаическими глазами критики, то найдешь в них некоторые несообразности. Начать с того, что тут излишне сжаты топографические подробности. Тут и дубравы, и широкие поля, и холмы высокие, и город. Картины поэта должны быть так написаны, чтобы живописец мог кистью своей перенести их на холстину. А в настоящем случае трудно было бы ему соблюсти законы перспективы. Далее: нельзя войти одним разом в дубравы, можно войти в дубраву; в дубраве нельзя искать широких полей и с них смотреть на город, хотя и сидит он на высоких холмах. Дубрава заслоняет собой всякую даль, и видишь перед собой одни деревья. Положим, что под древней дубравой (а все-таки не дубравами) поэт подразумевал рощу, посвященную Музам: все же остается та же сбивчивость в картине.

Другие стихи из того же стихотворения Дмитриева подали повод к забавному недоразумению. В первой книжке *ына Отечества* была напечатана передовая статья с эпитафией, взятым из *Освобождения Москвы*:

Где ты, Славянов храбрых сила?
Проснись, восстань, Российская мочь!
Москва в плену, Москва уныла,
Как мрачная осенняя ночь.

И, разумеется, под эпитафией выставлено было имя автора. В то время Дмитриев был министром юстиции, а граф Разумовский министром народного просвещения. Он был человек европейской образованности, но мало сведущ в русской литературе. Он принял это четверостишие за новое произведение, написанное Дмитриевым *по случаю* занятия Москвы Наполеоном. При первой встрече с Дмитриевым в Комитете Министров, обратился он к нему с похвалами и с сожалением, что новое прекрасное стихотворение его так коротко. Дмитриев сначала понять не мог, о чем идет речь и по щекотливости своей оскорбился предположением, что он, в своем министерском звании и при современных важных и печальных событиях, мог еще заниматься стихотворством.

Около того же времени Шишков читал в Комитете Министров статью свою, предназначенную для обнародования известия о взятии Москвы. Дмитриев, с авторским своим тактом, не мог сочувствовать порядку мыслей и вообще изложению этой неловкой статьи, в конце которой кто-то падает на колени и молится Богу. Не желая однако же прямо выразить свое мнение, спросил он, в каком виде будет напечатано это сочинение: в виде ли журнальной статьи или официальным объявлением от правительства. «У нас нет правительства», с запальчивостью возразил ему простодушный государственный секретарь.

* * *

Ломоносов два раза в одах своих говорит о *багряной руке зари*. Первый раз в оде шестой:

И ее уже рукой багряной
Врата отверзла в мир заря.
Другой раз в оде девятой:
Заря багряною рукою,
От утренних спокойных вод,
Выводит с солнцем за собою

Твоей державы новый год.

Ломоносова заря хороша, хотя русская заря не имеет нежности и прелести греческой Авроры с розовыми пальцами. В оде десятой:

Когда заря багряным оком
Румянцем умножает роз.

Багряное око – никуда не годится. Оно, вовсе непоэтически, означает воспаление в глазу и прямо относится до глазного врача.

У Ломоносова в одах много найдется намеков и подробностей исторических, географических, и политических, и относящихся до науки. В нем виден более академик, нежели поэт. Но и поэт нередко прорывается в стихах твердых, и звучных, и живописных. Вот пример политической или газетной поэзии, из оды пятнадцатой:

Парящий слыша шум орлицы,
Где пышный дух твой, Фридерик?
Прогнанный за свои границы,
Еще ли мнишь, что ты велик?
Еще ль, смотря на рок Саксонов,
Всеобщим дателем законов
Слывешь в желании своем! и пр.
Или ода семнадцатая:
Голстиния, возвеселися,
Что от тебя цветет наш крин.
Ты к морю в празднестве стремися,
Цветущий славою Цвейтин.
Хотя не силен ты водою,
Но радостью сравнись с Невою, и пр.
Вот вам и география, и вот еще она же:
Российского пространство света
Собрав на малы чертежи,
И грады оною спасенны,
И села ею же блаженны,
География покажи. (Ода десятая.)

Как хороши и поныне, и как поэтически верны, следующие два стиха из оды десятой:

В середине жаждущего лета,
Когда томит протяжный день.

Выражения *жаждущее лето* и *протяжный день* так и переносят читателя в знойный июльский день.

Ломоносова, как вообще и всякого поэта не нашего времени, нельзя читать с требованиями и условиями нам современными. Ломоносов писал торжественные оды потому, что в его время все более или менее писали стихи на торжественные случаи. Нельзя ставить ему в вину некоторые приемы, как нельзя смеяться над ним, что он ходил не во фраке, не в панталонах, а во французском кафтане, коротких штанах, с напудренной головой и с кошельком на затылке.

Он всегда с особенным одушевлением говорит о Елизавете. Называя ее Елизавет, он как будто угадал выражение принца Делиня, который сказал: Екатерина Великий. Нелединский, знаток в любви, убежден, что кроме верноподданнического чувства в душе Ломоносова было еще и более нежное поэтическое чувство.

Когда бы древни веки знали
Твою щедроту с красотой,
Тогда бы жертвой почитали
Прекрасный в храме образ твой. (Ода 2-я.)

Тебя, богиня, возвышают
Души и тела красоты;
Что в многих, разделясь, блистают
Едина все имеешь ты. (Ода 9-я.)

Коль часто долы оживляет
Ловящих шум меж наших гор,
Когда богиня понуждает
Когда чрез трубный глас из нор!
Ей ветры вслед не успевают.
Коню бежать не воспрящают
Ни рвы, ни частых ветвей связь:
Крутит главой, звучит браздами
И топчет бурными ногами,
Прекрасной всадницей гордись. (Ода 10-я.)

В последнем стихе есть в самом деле какое-то страстное одушевление.
В одной из своих од он говорит об Елисавете:

Небесного очами света
На сродное им небо зрит.

В другой:

Щедрот источник, ангел мира,
Богиня радостных сердец,
На коей как заря порфира,
Как солнце тихих дней венец;
О мыслей наших рай прекрасный,
Небес безмрачных образ ясный,
Где видим кроткую весну,
В лице, в очах, в устах и нраве!

Вот строфа, согретая чувством гражданства:

Священны да хранят уставы
И правду на суде судьи;
И время твоея державы
Да ублажат рабы твои.

Соседи да блюдут союзы... и пр. (Ода 9-я.)

Услышьте судии земные
И все державные главы:
Законы нарушать святые
От буйности блюдитесь вы,
И подданных не призирайте,
Но их пороки исправляйте
Ученьем, милостью, трудом.
Вместите с правдою щедроту,
Народну наблюдайте льготу:
То Бог благословит ваш дом.

Это строфа из оды на день восшествия на престол Екатерины II. Здесь как будто уже слышится Державин.

У Ломоносова встречаются странные выражения и понятия; например он заставляет Ветхого Деньми говорить:

Я в гневе Россам был творец,
Но ныне паки им отец.

Вообще кажется, по крайней мере, неприличным подсказывать Божеству, если не баснословному, свои собственные мысли и слова. А нередко поэты грешат этой неприличностью.

И Марс вложи свой *шумный меч*.

Прилагательное шумный вовсе не идет к мечу.

И *полк всех нежностей* теснится.
Полк и нежности также не ладят между собой.
Пучина преклонила волны.

Странно, но вместе с тем смело и поэтически.

О Боже крепкий, Вседержитель,
Пределов Росских *расширитель*.

Это также странно и смело, но уже вовсе не поэтически и неблагоприлично. Далее говорит он:

Как ныне Россию *расширил*,

а после:

Возри, коль широка Россия –
От всех полей и рек широких.
Взывая к Богу, поэт говорит:
По имени Петровой дщери,

Военны запечатай двери.

Здесь отзывается какое-то полицейское действие.

Моей державы кротка мочь
Отвергнет смертной казни ночь.

Когда пучину не смущает
Стремление насильных бурь,
В *зерцале жидком* представляет
Небесной ясности лазурь.

Не забывал профессор-поэт и метеорологических наблюдений:

Наука легких метеоров,
Премены неба предвещай,
И бурный шум воздушных споров
Чрез верны знаки предъявляй:
Чтоб ратай мог избрати время,
Когда земле поверить семя,
И дать когда покой браздам;
И чтобы, не боясь погоды,
С богатством дальним шли народы
К Елисаветинским брегам.

Труженик науки, в споре с разными препятствиями, а может быть, и несколько беспокойного нрава, Ломоносов не имел времени вслушиваться во вдохновение, навеваемое на него природой и впечатлениями внутренней жизни, более спокойной и чуткой. Он где-то сказал:

О лете я пишу, а им не наслаждаюсь,
И радости в одном мечтании ищу.

Как-то не верится, что Ломоносов мог мечтать. Скорее находил он радости не в мечтаниях, а в трудах, в приобретениях и преуспеваниях науки и в академических победах своих над Миллером и другими немцами.

Разумеется, что, так как оды Ломоносова писаны в разные царствования, то он должен был иногда порицать то, что восхвалял прежде. Но не нужно забывать, что он писал свои оды часто не под поэтическим вдохновением, а по обязанностям академической службы.

В письме своем о правилах российского стихотворения Ломоносов говорит:

«Французы, которые во всем хотят натурально поступать, однако почти всегда противно своему намерению чинят, нам примером быть не могут; понеже, надеясь на свою фантазию, а не на правила, толь криво и косо в своих стихах слова склеивают, что ни прозой ни стихами назвать нельзя. И хотя они так же, как и немцы, могли бы стопы употреблять, что сама природа иногда им в рот кладет, однако нежные те господа, на то несмотря, почти одними рифмами себя довольствуют. Пристойно весьма символом французскую поэзию некто изобразил, представив оную на театре, под видом некоторой женщины, что, сгорбившись и раскорячившись, при музыке играющего на скрипиче Сатира танцует. Я не могу довольно о том нарадоваться, что российский наш язык не только бодростью и героическим

звоном греческому, латинскому и немецкому не уступает, но и подобную оным, а себе купно природную и свойственную, версификацию иметь может».

Хорошо, но зачем же он не следовал своему определению и сам не держался этой свойственной нам версификации, а почти исключительно употреблял ямбический стих и довольствовался рифмами, иногда и довольно бедными.

В статье *Жизнь Ломоносова*, которая напечатана в Полном Собрании сочинений его, изданном изданием Императорской Академии Наук, в 1784 г., биограф, исчисляя все его литературные и ученые заслуги, как то: перестройку академической лаборатории по новейшему и лучшему расположению, многие эксперименты и новые открытия, академические сочинения, изящные похвальные речи Великому Петру и Елисавете Петровне, прекрасные и сильные стихи, трагедии, книги: Риторику, Российскую Грамматику, Руководство к горному строению и заводам, Российскую Историю, простодушно заключает перечень свой следующими словами: «Все то не суть *анекдоты*, а труды повсюду известные». Далее говорит он, что «превосходству его учености, важности и красоте его пера отдавал справедливость и покойный действительный статский советник и кавалер А. П. Сумароков, невзирая на всегдашнюю с ним вражду свою». Впрочем, эта последняя черта более относится к чести действительного статского советника и кавалера Сумарокова, нежели к чести статского советника Ломоносова. Если дело пошло на чины, оно так и быть должно: чин чина почитай.

Говорят, что когда, преследуя французов, вышедших из Москвы, Кутузов вступил в Вильну, то городская депутация поляков явилась к нему и бросилась на колени, прося пощады. «Встаньте, встаньте, господа! – сказал им князь Смоленский. – Помните, что вы снова сделались русскими!»

Во время отступления французов Кутузов часто говаривал: «Надобно строить золотые мосты отступающему неприятелю». Многие были противного мнения и говорили, что лучше топить и уничтожать неприятеля, нежели вежливо и с почестью провожать его. Кутузов, хотя и начал свое военное поприще под начальством Суворова, не был полководцем, принадлежащим к Суворовской школе. Быстрота, натиск, молодечество штыка не были в привычках его¹.

Как ни суди о степени воинских способностей его, должно признаться, что, так или иначе, имя его навсегда нераздельно сопряжено с событием изгнания неприятелей из России и, следовательно, ее освобождения и спасения.

Нельзя же согласиться с французами и с некоторыми из наших недоброжелателей Кутузова, что один *генерал Мороз* уничтожил французское войско. Мороз был тут, конечно, не лишней, но Кутузов немало способствовал его заморозению.

* * *

Князь Долгорукий, военный и дипломат, участвовавший в войне 1812 года и известный своими каламбурами, уже предсказывал, когда взят был в плен генерал Le Pelletier, что французы погибнут от холода, потому что лишились генерального скорняка (*pelletier* по-французски скорняк, меховщик). После Тарутинского сражения он же выдумал за Наполеона слова, будто им сказанные Кутузову: *Vieux routier, ta routine m'a deroute* (твоя толковость сбила меня с толку).

¹ Известно, что Император Александр не очень благоволиительно расположен был к Кутузову: назначив его в 1812 г. главнокомандующим, сделал он уступку общественному мнению. В войне, в самом сердце России, и войне, сделавшейся народной, нужно было в русском имени выставить русское знамя. Барклай и Бенигсен могли предводительствовать русскими войсками в Германии или в другой земле; но на русской почве был необходим русский плотью, кровью и духом.

Польский генерал Рожнецкий рассказывал, что в 1812 г. около Гжатска был пойман крестьянин и допрашиваем о какой-то дороге. «*Не знаю*» было единственным ответом его, несмотря ни на угрозы, ни на побои, ни на обещания награды. Вот безымянный герой в истории 1812 г. Эта твердость, это упорство сильно поразили Наполеона и окружающих его. Но Наполеон не хотел показать неприятное впечатление и разбил допрашивающих, упрекая их в том, что они не умеют хорошо объясниться с крестьянином по-русски.

* * *

Наполеон говорил князю Понятовскому в 1811 году: «Наше дело впрок не пойдет. Я рад всеми силами поддерживать вас, но вы от меня слишком далеки, а от России слишком близки. Что ни делай, а тем кончится, что она вас завоюет, мало того, завоюет всю Европу».

Князь Понятовский, возвратившись в Польшу, пересказывал эти слова многим из своих соотечественников и, между прочими, Грабовскому, который записал их в своей памятной книжке.

Плятер, передавая это, сказал, что судьба иногда каким-то непостижимым образом предрекает определения свои нашими устами. И в самом деле, не поразительно ли нескромное и как будто невольное признание Наполеона в такое время, когда он готовился на войну 1812 г. и подымал на дыбы Польшу силой несбыточных надежд, и поднял ее, и вместе с ней того же самого князя Понятовского.

Князь Понятовский позднее других своих соотечественников поддался обольщению Наполеона. В 1806 г. выезжал он к нему на встречу с прусским орденом на мундире, что было неприятно Наполеону и другим полякам, которые телом и душой уже поработились обаянию счастливого завоевателя.

* * *

Крестьяне графа Мостовского, министра внутренних дел в Польше, говорят о его сельском хозяйстве: «Мы сеем траву, а покупаем хлеб».

* * *

Свечина, в проезд свой через Варшаву, говорила, что ей все кажется, что она смотрит на представление *Лодоиски* (известной в то время оперы польского содержания). Все ей казалось, даже и бытие народа, чем-то обманчивым, условленным и театральным.

* * *

Князь Сапега говорит, что мы живем в век конституции, филантропии и скуки.

* * *

В разговоре о Польше и о способах управлять поляками NN сказал: «С поляками должно иметь мягкость в приемах и твердость в исполнении. Подавайте руку поляку вежливо и ласково, но, вместе с тем, слегка прижмите ее так, чтобы он мог догадаться о силе вашей. Полякам некогда быть благодарными: они легко или падают духом, или увлекаются энтузиазмом, хотя часто не по разуму. Главное дело: их заговорить и охмелить». Так поступал с ними и Наполеон. Он никогда не думал вернуть им политическую независимость,

а только в льстивых словах обольщал их легковёрный патриотизм этой независимостью, и они лезли за него в огонь и тысячами погибали.

Наполеон в царствование свое надоел иным французам, как они ни легкомысленны, и был даже в тягость некоторым из своих приближенных и благодетельствованных им людей. Поляк же никогда не был разуверен и разочарован в отношении к Наполеону. Один поляк говорил очень серьезно, что Наполеон безрассудно вверил себя великодушию англичан: «Одни мы умели бы отстоять его, если бы прибег он к нам». И точно, Польша дала бы себя разрубить на куски и пролила бы до последней капли кровь свою, но не изменила бы Наполеону.

* * *

Граф Остерман сказал, кажется, маркизу Паулучи в 1812 году: «Для вас Россия мундир ваш: вы его надели и снимите его, когда хотите. Для меня Россия кожа моя».

* * *

У. рассказывал Алексею Михайловичу Пушкину, как он в 1814 году ночью взят был в плен французами.

«Они очень невежливы (говорил он) и худо обращались со мной. Я им объяснял, что я генерал и что они должны уважать мое звание».

Они отвечали мне: «Зачем эти сказки: ну похож ли ты на генерала?»

«Что же (перебил его Пушкин), начинало уже рассветать?»

«Да, немножко», – отвечал тот простодушно и продолжал свое повествование.

* * *

Генерал Чаплиц, известный своей храбростью, говорил очень протяжно, плодovито и с большими расстановками в речи своей. Граф Василий Апраксин, более известный под именем Васеньки Апраксина, приходит однажды к великому князю Константину Павловичу, при котором находился он на службе в Варшаве, и просится в отпуск на 28 дней. Между тем ожидали на днях приезда в Варшаву Императора Александра. Великий князь, удивленный этой просьбой, спрашивает его, какая необходимая потребность заставляет его отлучаться из Варшавы в такое время. «Генерал Чаплиц, – отвечает он, – назвался ко мне завтра обедать, чтобы рассказать мне, как попался он в плен в Варшаве во время первой Польской революции. Посудите сами, ваше высочество, раньше 28 дней никак не отделаюсь».

Разнесся слух, что папа умер. Многие старались угадывать, кого на его место изберет новый конклав. «О чем тут и толковать? – перебил речь тот же Апраксин. – Разумеется, назначен будет военный». Это слово, сказанное в тогдашней Варшаве, строго подчиненной военной обстановке, было очень метко и всех рассмешило.

Его же спрашивали о некотором лице, известном по привычке украшать свои рассказы красным словцом, не едет ли он в Россию на винные откупы, которые только что открылись в Петербурге. «Нет, – отвечал он, – а еду, чтобы снять поставку лжи на всю Россию».

* * *

NN сказал о ***, впрочем, очень добром и почтенном человеке: «Он говорит пословицами, а действует виньетками».

Кстати о виньетках. Блудов сказал о новом собрании басен Крылова, что вышли новые басни Крылова, с свиньей и с виньетками.

«Свинья на барской двор когда-то затесалась» и пр. Строгий и несколько изысканный вкус Блудова не допускал появления Хавроньи в поэзии. Какой-то французский критик, в таком же направлении, осуждал Крылова за то, что он выбрал гребень предметом содержания одной из своих басен, вероятно, на том основании, что есть французская поговорка: грязен как гребень (*sale comme un reigne*).

Выходя из театра после представления новой русской комедии, чуть ли не Загоскина, в которой табакерка играла важную роль, Блудов сказал: «В этой комедии более табаку, нежели соли».

Ему же однажды передали, что какой-то сановник худо о нем отзывался, говоря, что он при случае готов продать Россию. «Скажите ему, что если бы вся Россия исключительно была наполнена людьми на него похожими, я не только продал, но и даром отдал бы ее».

* * *

Козодавлев, будучи министром внутренних дел, очень заботился о развитии русской промышленности и о замене иностранных произведений своими домашними.

В газете *Северная Почта*, издаваемой при министерстве и при личном наблюдении и участии самого министра, часто и много толковали о кунжутном масле. Когда Козодавлев умер, NN спрашивал: «Правда ли, что его соборовали кунжутным маслом?»

* * *

Великий князь Константин Павлович всегда отличал графиню Розалию Ржевускую, по красоте и по уму очень достойную его внимания. Цесаревич любил шутить над ее клири-кальностью и часто обращался к ней с священными текстами. Однажды на бале она указала великому князю на одну даму, называя ее красавицей. «Вот что значит христианское смире-ние, – отвечал он ей. – Вы видите сучок в глазу у ближнего, а в своем бревна не замечаете».

* * *

Князь Юсупов (старик Николай Борисович) трунил над графом Аркадием Марковым по поводу старости его. Тот отвечал ему, что они одних лет.

«Помилуй, – продолжал князь, – ты был уже на службе, а я находился еще в школе».

«Да чем же я виноват, – возразил Марков, – что родители твои так поздно начали тебя грамоте учить».

* * *

У Ермолова спрашивали об одном генерале, каков он в сражении. «Застенчив», – отве-чал он.

* * *

Дидеро витийствовал и гремел в кабинете императрицы Екатерины против льстецов, отсылая их прямо в ад. Екатерина переменила разговор. Спустя несколько времени спрашивает она у него: «Что говорят в Париже о последнем политическом перевороте, проис-

ходившем в России?» Дидеро запинаясь, отделяется общими выражениями, упоминает о случайностях государственной необходимости и т. д. Екатерина, улыбаясь, говорит ему: «Берегитесь, господин Дидеро: если не прямо в ад, то по крайней мере идете вы в чистилище».

Екатерина долго и с жаром говорила о достоинствах Сюлли и о счастье государя, который имел подобного министра. «Найдись другой Генрих, сыщется другой Сюлли», – будто сказал Панин. (Но это невероятно, и ответ только приписан был Панину; во всяком случае не графу Никите, а графу Петру Ивановичу Панину. Вообще нужно с большой осторожностью доверять этим историческим изречениям, появляющимся задним числом.)

* * *

Бирон, как известно, был большой охотник до лошадей. Граф Остейн, венский министр при Петербургском Дворе, сказал о нем: «Он о лошадях говорит как человек, а о людях как лошадь».

* * *

Суворов писал князю Потемкину в 1790 году: «Истинная слава не может быть довольно оценена: она есть следствие пожертвования самим собой в пользу общего блага».

* * *

В одно из своих странствований по России Пушкин остановился обедать на почтовой станции в какой-то деревне. Во время обеда является барышня очень приличной наружности. Она говорит ему, что, узнав случайно о проезде великого нашего поэта, не могла удержаться от желания познакомиться с ним, отпускает различные приветствия, похвальные и восторженные.

Пушкин слушает их с удовольствием и сам с ней любезничает. На прощанье барышня подает ему вязанный ею кошелек и просит принять его на память о неожиданной их встрече. После обеда Пушкин садится опять в коляску; но не успел он еще выехать из селения, как догоняет его кучер верхом, останавливает коляску и говорит Пушкину, что барышня просит его заплатить ей десять рублей за купленный им у нее кошелек. Пушкин, заливаясь звонким смехом, любил рассказывать этот случай авторского разочарования.

* * *

Карамзин рассказывал, что кто-то из малознакомых ему людей позвал его к себе обедать. Он явился на приглашение. Хозяин и хозяйка приняли его очень вежливо и почтительно и тотчас же сами вышли из комнаты, где оставили его одного. В комнате на столе лежало несколько книг. Спустя 10 минут или $\frac{1}{4}$ часа являются хозяева, приходят и просят его в столовую. Удивленный таким приемом, Карамзин спрашивает их, зачем они оставили его? «Помилуйте, мы знаем, что вы любите заниматься, и не хотели помешать вам в чтении, нарочно приготовили для вас несколько книг».

* * *

Дмитриев рассказывал, что какой-то провинциал, когда заходил к нему, заставлял его за письменным столом с пером в руках. «Что это вы пишете? – часто спрашивал он его. – Нынче, кажется, не почтовый день».

Кто-то однажды навестил графа Ланжерона: он сидел в своем кабинете с пером в руках и писал отрывисто, с размахом, как многие подписывают имя свое в конце письма. После каждого подобного движения повторял он на своем ломаном русском языке: «Нье будет, нье будет!»

Что же оказалось? Он пробовал, как бы подписывал фельдмаршал граф Ланжерон, если когда-нибудь пожалован бы он был в фельдмаршалы, и вместе с тем чувствуя, что никогда фельдмаршалом ему не бывать.

Он был очень рассеян и часто от рассеянности мыслил вслух в присутствии других, что часто подавало повод к разным комическим сценам. К... обедал у него в Одессе во время его генерал-губернаторства. Общество было преимущественно составлено из иностранных негоциантов. За обедом выхвалял он удовольствия одесской жизни и, указывая на негоциантов, сказал, что с такими образованными людьми можно приятно провести время. На беду его, в то время был он особенно озабочен просьбой о прибавке ему столовых денег. «А не дадут мне прибавки, я этим господам, – стал мыслить он вслух, – и этого не дам!» (схватил с тарелки своей косточку, оставшуюся от котлетки).

В приезд императора Александра в Одессу был приготовлен для него дом, занимаемый Ланжероном. Встретив государя и проводив его до кабинета, после разговора, продолжавшегося несколько минут, откланялся он, вышел из кабинета и по привычке своей запер дверь на ключ. Государь оставался несколько времени взаперти, но наконец застучался, и освободили его от заточения.

Ланжерон был умный и вообще довольно деятельный человек, но ужасно не любил заниматься канцелярскими бумагами. Случалось, что, когда явятся к нему чиновники с докладами, он от них прятался, выходил из дому какими-нибудь задними дверями и пропадал на несколько часов.

Кажется, граф Каменский (молодой), во время Турецкой войны, объяснял ему планы свои для будущих военных действий. Как нарочно на столе лежал журнал *Французский Меркурий*. Ланжерон машинально раскрыл его и попал на шараду, в журнале напечатанную. Продолжая слушать изложение военных действий, он невольно занялся разгадыванием шарады. Вдруг, перебивая речь Каменского, вскрикнул он: «Что за глупость!» Можно представить себе удивление Каменского: но вскоре дело объяснилось, когда он узнал, что восклицание Ланжерона относилось к глупой шараде, которую он разгадал.

В другой раз, чуть ли не в заседании какого-то военного совета, заметил он собачку под столом, вокруг коего сидели присутствующие члены. Сначала, неприметно для других, стал он движением пальцев призывать к себе эту собачку. Она подошла, он начал ее ласкать и вдруг, причмокивая, обратился к ней с ласковыми словами.

Разумеется, все эти выходки не вредили Ланжерону, а только забавляли и смешили зрителей и слушателей, которые уважали в нем хорошего и храброго генерала. В армии известно слово, сказанное им во время сражения подчиненному, который неловко исполнил приказание ему данное. «Ви пороху нье боитесь, но затьо ви его нье видумали».

Однажды во время своего начальства в Одессе был он недоволен русскими купцами и собрал их к себе, чтобы сделать им выговор. Вот начало его речи к ним: «Какой ви негоцъант, ви маркитант; какой ви купец, ви овец». – и движением руки своей выразил козлиную бороду.

Однажды за обедом у императора Александра сидел он между генералами Уваровым и Милорадовичем, которые очень горячо разговаривали между собой. Государь обратился к Ланжерону с вопросом, о чем идет их живая речь. «Извините, государь, – отвечал он, – я их не понимаю: они говорят по-французски». Известно, что Уваров и Милорадович отличались своей несчастной любовью к французскому языку.

В молодости своей Ланжерон писал трагедии, как и все мало-мальски грамотные люди во Франции: у французов тогда была мода на трагедии, как у нас в то же время на торжественные оды. В начале Французской революции 1789 года участвовал он в журнале *Les actes des Apotres*, издаваемом, разумеется, в духе монархическом и в защиту королевской власти. Сотрудниками журнала были очень умные и острые люди, так что журнал часто удачно соперничал с оппозиционными периодическими изданиями. В Одессе Ланжерон дал Пушкину трагедии свои на прочтение. Понимается, Пушкин их не прочел и, спустя несколько времени, на вопрос Ланжерона, которая из трагедий более ему нравится, отвечал ему наугад, именуя заглавие одной из них. В ней выведен был республиканец.

* * *

Дмитриев, жалуясь на скучного и усердного посетителя своего, говорил, что приходит держать его под караулом.

* * *

– За что многие не любят тебя? – кто-то спрашивал Ф. И. Киселева.

– За что же всем любить меня? – отвечал он. – Ведь я не золотой империял.

* * *

Граф Толстой, известный под прозвищем Американца, хотя не всегда правильно, но всегда сильно и метко говорит по-русски. Он мастер играть словами, хотя вовсе не бегаёт за каламбурами.

Однажды заходил он к старой своей тетке. «Как ты кстати пришел, – говорит она, – подпишись свидетелем на этой бумаге». – «Охотно, тетушка, – отвечает он и пишет: «При сей верной оказии свидетельствую тетушке мое нижайшее почтение». Гербовый лист стоил несколько сот рублей.

Какой-то родственник его, ума ограниченного и скучный, все добивался, чтобы он познакомил его с Денисом Давыдовым. Толстой под разными предлогами все откладывал представление. Наконец, однажды, чтобы разом отделаться от скуки, предлагает он ему подвести его к Давыдову. «Нет, – отвечает тот, – сегодня неловко: я лишнее выпил, у меня немножко в голове». – «Тем лучше, – говорит Толстой, – тут-то и представляться к Давыдову». Берет его за руку и подводит к Денису, говоря: «Представляю тебе моего племянника, у которого немного в голове».

Князь*** должен был Толстому по векселю довольно значительную сумму. Срок платежа давно прошел, и дано было несколько отсрочек, но денег князь ему не выплачивал. Наконец Толстой, выбившись из терпения, написал ему: «Если вы к такому-то числу не выплатите долг свой весь сполна, то не пойду я искать правосудия в судебных местах, а отнесусь прямо к лицу вашего сиятельства».

За дуэль или какую-то проказу был посажен он в Выборгскую крепость. Спустя несколько времени показалось ему, что срок содержания его в крепости уже миновал, и начал

он рапортами и письмами бомбардировать начальство, то с просьбой, то с жалобой, то с упреками. Это наконец надоело коменданту крепости, и он прислал ему строгое предписание и выговор с приказанием не осмеливаться впредь докучать начальство пустыми ходатайствами. Малограмотный писарь, переписывавший эту офицерскую бумагу, где-то и совершенно неуместно поставил вопросительный знак. Толстой обеими руками так и схватился за этот неожиданный знак препинания и снова принялся за перо. «Перечитывая (пишет он коменданту) несколько раз с должным вниманием и с покорностью предписание вашего превосходительства, отыскал я в нем вопросительный знак, на который вменяю себе в непременную обязанность отвечать». И тут же стал он снова излагать свои доводы, жалобы и требования.

Шепелев (генерал Дмитрий Дмитриевич) говорит всегда несколько высокопарно. Однажды сказал он Толстому: «Послушайся, голубчик, моего совета: если у тебя будет сын, учи его непременно гидравлике». – «Почему же именно гидравлике?» – спрашивает Толстой. «А вот почему. Мы, например, гуляем с тобой в деревне твоей, подходим к ручью, я беру тебя за руку и говорю: Толстой, дай мне 100 тысяч рублей...» – «Нет, – с живостью прервал его тот, – подведи меня хоть к морю, так не дам». – «Не в том дело, – продолжает Шепелев, – но я увидел, что на этой речке можно построить мельницу или фабрику, которая должна дать до 20 и 30 тысяч рублей ежегодного дохода».

Когда появились первые 8 томов *Истории Государства Российского*, он прочел их одним духом, и после часто говорил, что только от чтения Карамзина узнал он, какое значение имеет слово Отечество, и получил сознание, что у него Отечество есть. Впрочем, недостаток этого сознания не помешал ему в 12-м году оставить Калужскую деревню, в которую сослан он был на житье, и явиться на Бородинское поле: тут надел он солдатскую шинель, ходил с рядовыми на бой с неприятелем, отличился и получил Георгиевский крест 4-й степени.

* * *

Князь Чарторижский (старик, в конце прошлого столетия) распустил по Варшаве слух, что приехал знаменитый гадатель, обладающий удивительным дарованием узнавать прошедшее и угадывать будущее, что остановился он в Пражском предместье, в таком-то доме и в такие-то часы принимает посетителей. В эти часы отправлялся он сам в назначенное место, переряжался и в темной комнате давал свои аудиенции. Разумеется, что все общество хлынуло к нему, и в особенности дамы. Он знал всех жителей варшавских, более или менее все их действия, желания и помыслы, а потому и легко было ему удивлять всех своим чудесным всеведением. Между тем узнал он и многие новые тайны, которые перед ним обнаружились и невольно были высказаны. И жена его попала в эту сеть. Может быть, и она проговорилась, и всеведущий маг узнал иное, чего он не знал. Вот хороший сюжет для повести или для оперетки.

* * *

Генерал Лубинский, поляк в душе, но умеренный и благоразумный либерал, говорил, что полякам не должно забывать, что царь конституционный в Польше есть император самодержавный в России и что в борьбе свободы с властью должно всегда иметь эту истину перед глазами.

* * *

На вечере у княгини Заиончек (жены наместника) речь зашла о желаниях каждого, и каждый из присутствующих должен был выразить, чего просил бы он от судьбы, если она взялась бы исполнить желание. «Спасти Отечество», – сказал П. «Что же, – с живостью перебила его княгиня Заиончек, – вы имели бы тут общую участь с гусями Капитолия».

Это слово очень остроумно и очень уместно в официальном положении княгини. Она вообще мало разговаривает, но отрывисто и метко отпускает подобные выстрелы.

* * *

Канцлер Румянцев когда-то сказал, что Наполеон не лишен какого-то простодушия (*bonhomie*). Все смеялись над этим мнением и приписывали его недалекости ума Румянцева. А может быть, он был и прав. В частных сношениях Наполеона с приближенными и подчиненными ему людьми была некоторая простота, как оказывается из многих рассказов и отзывов. К тому же, по горячности своей, он был нередко нескромен и проговаривался.

Н. Н. Новосильцев рассказывал, что за столом у государя Румянцев, по возвращении своем из Парижа, сказал следующее: «В одном из моих разговоров с Наполеоном осмелился я однажды заметить ему: «Неужели, государь, при достижении подобного величия и высоты, не подумали вы, что, сколько вы ни всемогущи, но закон природы падет и на вас. Избрали ли вы достойного себе наследника и преемника вашей славы?» – «Поверите ли, граф, – отвечал Наполеон, ударяя себя по лбу, – что мне это и в голову не приходило! Благодарю. Вы меня надоумили».

Оставляю на произвол каждого решить, не солгал ли тут кто-нибудь из трех; а на правду что-то не похоже.

* * *

Князь Дашков, сын знаменитой матери, имел, говорят, в обращении и в приемах своих что-то барское и отменно-вежливое, что, впрочем, и бывает истинным признаком человека благородного и образованного. В доказательство этих качеств князя Дашкова, В. Л. Пушкин приводит следующий случай.

Он, т. е. Пушкин, и зять его Солнцев были коротко знакомы с князем и могли обедать у него когда хотели. Однажды приезжают они к нему в час обеда и застают у хозяина все отборное московское общество, всех сановников и всех наличных Андреевских кавалеров. Увидя, что на этот раз приехали они невпопад, уезжают домой. Неделью спустя получают они от князя приглашение на обед, приезжают и находят то самое общество, которое застали они в тот день.

* * *

В 1809 или 1810 г. приезжал в Москву, Бог знает откуда, какой-то чужак, который выдавал себя за барона Жерамба, носил всегда черный гусарский мундир и вместо звезды на груди серебряную мертвую голову. Он уверял, что этот мундир и эта голова были присвоены полку, который он на своем иждивении поставил в Австрии во время войны. Все это

казалось очень баснословно, но сам был он очень мил и любезен и хорошо принят в лучшие московские дома.

Сначала жил он очень широко, разъезжал по Москве в щегольской карете цугом, играл в карты, проигрывал довольно значительные суммы и т. п. Наконец денежные средства его, по-видимому, истощились. В подобной крайности написал он княгине Дашковой письмо такого содержания: что он видел Родосский колосс, Египетские пирамиды и подобные тому чудеса и не умрет спокойно, если не удостоится увидеть княгиню Дашкову. Старушка была тронута этим лестным приветом и пригласила его к себе. В первое же свое посещение попросил он у княгини дать ему взаем 25 000 рублей. Княгиня, разумеется, их не дала, и знакомство их на этом и кончилось.

Когда русские войска вступили в Париж, многие офицеры, знавшие Жерамба в России, нашли его траппистом в Париже и под именем отца Жерамба. Он, кажется, несколько был известен и литературными произведениями. Во время пребывания своего в Москве обратил он сердечное внимание свое на одну девицу и, не смея ей в том признаться, написал в альбом ее брата: *Prince, je vous adorerais, si Vous etiez Votre soeur.* (Я бы вас обожал, если бы вы были своей сестрой.)

* * *

За получением известия о кончине императора Александра последовало в Варшаве политическое и междуцарственное затишье; впрочем, более наружное и официальное; а умы, разумеется, были взволнованы молчанием правительства и не знали, как объяснять это молчание.

Депутация от Государственного Совета или других высших мест решила отправиться к генералу Куруте. Он спал. Поляки убедили камердинера разбудить его, потому что приехали по важному и неотлагательному делу. Курута принял их в постели. Они объяснили, что желают представиться новому императору и спрашивают, когда и как могут исполнить эту обязанность. «*Cela ne cadre pas avec nos combinaisons*» (это не соответствует нашим расчетам), – отвечал им Курута, повернулся на другой бок и тут же заснул.

Александр Голицын, известный под именем Рыжего, вследствие каких-то неудовольствий по службе и неприятных слов, сказанных ему великим князем, просился в отставку. Курута назначен был от цесаревича негоциатором, чтобы убедить Голицына отказаться от своего намерения. «*Moi cher, – сказал ему благоразумный Улисс, – le Grand Due est un grand prince, e'est le frere de l'Empereur. Il faut etre magnanime avec les grands et savoir se survaincre.*» (Мой милый, великий князь – великая особа, он брат императора. Надо быть великодушным с великими особами и уметь себя преодолевать.)

* * *

Говоря о некоторых блестящих счастливицах, NN сказал: «От них так и несет ничтожеством».

* * *

Н. Н. Новосильцев – человек умный, хотя и в некотором размере, очень образованный, доброжелательный, способный иметь благородные движения, а иногда и силу выражать их на деле. Но при этом есть слабости в уме и характере его. Их должно приписывать среде, в которой он обращался. В нашем обществе нет надлежащего контроля, и общественное

мнение не имеет довольно силы, чтобы подчинять нравственной дисциплине действия и привычки своих членов.

В Варшаве он не умеет обращаться с поляками. Он любит, ласкает, принимает и угощает своими роскошными обедами только тех поляков, которые и без того принадлежат России, как принадлежали бы они всякой другой господствующей державе (есть же натуры, которые, как вещи, должны непременно кому-нибудь принадлежать).

Политика должна делать уступки, заискивать и стараться разными обольщениями вербовать даже и недоброжелателей. Этого способа завоевания Новосильцев никогда не испытывал. Своей невнимательностью, недоступчивостью он только раздражал людей, считавшихся в оппозиции. Немцевич за обедом у NN говорил соседу своему со слезами на глазах: «Вот первый кусок русского хлеба, который я ем в Варшаве».

Но, впрочем, много было в Новосильцеве сочувственного и привлекательного: большая простота и одинаковость в обращении. Разговор его мог быть разнообразен и интересен; но по какой-то лени он не любит упражнять свой ум, и по большей части разговор вертится около мелочей, событий и городских сплетен. Лень его до того доходит, что он даже не читает газет и признается, что узнает о важных европейских событиях от англичанина, камердинера своего, который прилежный читатель английских газет, выписываемых Новосильцевым.

Он до того беспечен, что однажды, и то нечаянно, отыскал в старой забытой им шкатулке многие важные и драгоценные бумаги, между прочими – собственноручные на французском языке письма от английского принца-регента, нынешнего короля: одно о ганноверских делах, другое с просьбой исходатайствовать ему позволение приехать на твердую землю и принять участие в войне против Наполеона. Было письмо и от Пита. И вместе с этими бумагами отыскались в шкатулке забытые ассигнации на 2000 рублей.

В молодости он писал русские стихи и, кажется, особенно эпистолы, которые в царствование Екатерины были в большом ходу. Но и теперь художественные привычки отчасти остались при нем. Можно иногда застать его за переводом, белыми стихами, какой-нибудь оды Анакреона или за клавирами, разыгрывающего сонату. Эти отдыхи и досуги в жизни официального человека имеют особенную прелесть.

Новосильцева можно назвать заколоченным колодцем многих исторических достопамятностей.

* * *

Князь Голицын прозван Jean de Paris (название современной оперы), потому что он в Париже, во время пребывания наших войск, выиграл в одном игорном доме миллион франков и, спустя несколько дней, проиграл их так, что не с чем было ему выехать из Парижа.

Он большой чудак и находится на службе при великом князе в Варшаве в должности – как бы сказать? – забавника. И в самом деле он очень забавен при какой-то сановитости в постановке и кудреватости в речах.

Надобно прибавить, что он от природы был немного трусоват. Однажды ехал он в коляске с великим князем, и скакали они во всю лошадиную прыть. Это Голицыну не очень нравилось. «Осмелюсь заметить, – сказал он, – и доложить вашему императорскому высочеству, что если малейший винт выскочит из коляски, то от вашего императорского высочества может остаться только одна надпись на гробнице: здесь лежит тело Его Императорского Высочества Великого Князя Константина Павловича». – «А Михель?» – спросил великий князь (Михель был главный вагенмейстер при дворе великого князя). «Приемлю смелость почтительнейше повергнуть на благоусмотрение и прозорливое соображение вашего импе-

раторского высочества, что если, к общему несчастью, не станет вашего императорского высочества, то и Михель его императорского высочества бояться не будет».

В другой раз говорил он великому князю: «Вот, кажется, ваше высочество, и несколько привыкли ко мне, и жалуете, и удостаиваете меня своим милостивым благорасположением, но все это ненадежно. Пришла бы на ум государю мысль сказать вам: «Мне хотелось бы съесть Голицына», – вы только бы и спросили: а на каком соусе прикажете изготовить его?»

Однажды захотелось ему иметь прибавку к получаемому им содержанию, казенную квартиру и еще что-то подобное в этом роде. Передал он свои желания генералу Куруте. Тот имел привычку никогда и никому ни в чем не отказывать. «Очень хорошо, *mon cher*, – сказал он Голицыну, – в первый раз, что мы с вами встретимся у великого князя, я при вас же ему о том доложу». Так и случилось. Начался между великим князем и Курутой, как и обыкновенно бывало, разговор на греческом языке. Голицын слышит, что несколько раз было упоминаемо имя его. Слышит он также, что на предложения Куруты великий князь не раз отвечал: «калос». Все принадлежащие варшавскому двору довольно были сведущи в греческом языке, чтобы знать, что слово *калос* значит по-русски: хорошо. Голицын в восхищении.

При выходе из кабинета великого князя Голицын только что собирался изъявить свою глубочайшую благодарность Куруте, тот с печальным лицом объявляет ему: «Сожалею, *mon cher*, что не удалось мне удовлетворить вашему желанию; но великий князь во всем вам отказывает и приказал мне сказать вам, чтобы вы впредь не осмеливались обращаться к нему с такими пустыми просьбами».

Что же оказалось после? Курута, докладывая о ходатайстве Голицына, прибавлял от себя по каждому предмету, что, по его мнению, Голицын не имеет никакого права на подобную милость; а в конце заключил, что следовало бы запретить Голицыну повторять свои домогательства. На все это великий князь и изъявлял свое совершенное согласие.

Надобно видеть и слышать, с каким драматическим и мимическим искусством Голицын передает эту сцену, которой искусный комический писатель мог бы воспользоваться с успехом.

* * *

На довольно многолюдном вечере у варшавского коменданта Левицкого Новосильцев имел неприятную стычку с одним из адъютантов великого князя. Сгоряча дал он ему почувствовать, что власть, которой он официально уполномочен, может простирается и на него.

Разумеется, это было доведено до сведения цесаревича, который остался очень недоволен. Пошли переговоры, Новосильцев был не прочь и от поединка, но лелеяло обошлось миролюбиво, хотя, может быть, и более неприятным образом для Новосильцева. Вследствие посредничества со стороны цесаревича, Новосильцев должен был сказать несколько извинительных слов адъютанту в том же доме и перед тем же обществом, которое было свидетелем стычки. Так и случилось.

С этой поры политическое и нравственное значение Новосильцева в Варшаве было несколько потрясено, и из независимого положения перешел он в другое, которое подчинило независимость его постороннему влиянию.

Спрашивали у Васеньки Апраксина, одного из зрителей (этой примирительной сцены, как обошлось все дело. «Очень хорошо, – отвечал он. – Байков (старший и ближайший к Новосильцеву чиновник) ввел его в комнату и сказал ему: Сын Святого Людовика, посмотри на солнце». Известно, что эти слова были сказаны духовником несчастного Людовика XVI, когда он всходил на эшафот.

Замечательна удачная находчивость Апраксина в подобных случаях. Он не знал истории, ничего никогда не читал, вероятно, как-то мельком слышал про это изречение и тут же применил его так метко, остроумно и забавно.

Кроме саморожденного дарования на острые слова Апраксин имеет еще и другие таланты. Никогда не учась музыке, поет он прекрасно и разыгрывает на клавикордах лучшие места из слышанных им опер. Никогда не учась рисованию, он мастерски владеет карандашом и пишет прекрасные карикатуры. У генерала Синягина есть большой альбом, Апраксиным исписанный: тут, в смешных и метких изображениях, проходит все петербургское общество. Со временем этот альбом может сделаться исторической достопамятностью.

* * *

В дневнике NN записано: «Мое дело не действие, а впечатлительная осязательность; меня хорошо бы держать как термометр: он не может ни нагреть, ни освежить покоя, но ничто скорее и вернее его не почувствует и не укажет настоящую температуру. Часто замечал я за собой при событиях, что поражали меня иные признаки и свойства, которые ускользали от внимания других».

* * *

Многое может в прошлой истории нашей объясниться тем, что русский, т. е. Петр Великий, силился сделать из нас немцев, а немка, т. е. Екатерина Великая, хотела сделать нас русскими.

* * *

Я желал бы славы себе, но не для себя, а с тем, чтобы озарить ею могилу отца и колыбель моего сына.

* * *

О Небо! Зачем при склонностях мирных дало ты мне и порывы мятежные? Тихое забвение, тихое убежище, тень двух-трех деревьев, светлый бег ручья, при вас мысль моя отдыхает. Вами, кажется, могла бы ограничиться вся алчность моих желаний; но страсти, обольщения света уносят меня далеко от вас. В волнении тоски беспредельной я вздыхаю по вас: на вашем безмятежном лоне порываюсь на новые движения. Я в всегдашней борьбе с самим собой и не знаю, что окончательно одержит верх. У других для этого тайного и глухого волнения пробуждается вечно бьющий источник поэзии; но не каждому судьбой дается он в удел. А, кажется, он один может утолить жажду души, равнодушной к так называемым земным благам, – души, которая готова иссохнуть на почве, где, по преданиям толпы, растет человеческое счастье и расцветают житейские выгоды.

* * *

Магницкий зашел однажды к Тургеневу (Александру) и застал у него барыню-просительницу, которая объясняла ему свое дело. Магницкий сел в сторону и ожидал конца аудиенции. Докладывая по делу своему, на какое-то замечание Тургенева барыня говорит: «Да помилуйте, ваше превосходительство, и в Евангелии сказано: на Бога надейся, а сам не пло-

шай». – «Нет уж, извините, – вскочил со стула и, подбежав к барыне, с живостью сказал ей Магницкий. – Этого, милостивая государыня, в Евангелии нет». И он возвратился на свое место.

Когда в 1812 году Магницкий жил в ссылке, в Вологде, какой-то доморощенный вологодский поэт написал следующие стихи:

Сперанский высоко взлетел,
Россию предать хотел:
За то сослан в Сибирь
Копать имбирь.
Магницкий сидит,
Туда же глядит.

Стихи дают некоторое понятие об общем расположении к двум политическим ссылкам.

Следующий случай еще сильнее может служить тому признаком. Рассказывали, что Магницкий пошел в лавку и, купив самовар, велел отнести его к себе на квартиру, сказав свою фамилию. Услышав ее, купец выгнал его из лавки и самовара не продал. Этот анекдот, может быть, и выдуман, но он ходил по Вологде и, следовательно, имеет свое значение.

* * *

Молодой князь Марцелин Любомирский был очень хорошо принят в лучшем петербургском обществе; но скоро своротил с пути, растерялся, наделал долгов и тайно скрылся. Во время расточительной жизни своей он все указывал заимодавцам на местечко *Дубно*, которое принадлежало отцу его и вскоре должно было поступить в продажу, и что тогда выплатит он все свои долги. NN при этом сказал: «Заимодавцы Любомирского могут изменить известную пословицу и говорить: «Славны *Дубны* за горами».

* * *

Нелединский говорит, что при дворе *сегодня* не есть последствие вчерашнего дня, и ненадежное указание на завтрашний. Каждый день при дворе имеет свою отдельную судьбу. Так на него и надо смотреть.

В 1812 году Нелединский оставил Москву за несколько минут до вступления французов и так врасплох, что выехал в своей извозчичьей карете, как разъезжал по городу. В Ярославле представлялся он великой княгине Екатерине Павловне. На слова Нелединского, который смотрел довольно мрачно на совершающиеся события и на последствия, которыми могут они отозваться в России, великая княгиня с живостью возразила ему: «Но, однако же, брат мой любим народом». – «Конечно, – отвечал Нелединский, – государь любим, но любовь поддерживается доверием, а доверие рождается от успехов».

После выхода французов из Москвы и водворения в ней некоторого порядка он никак не мог решиться оставаться в ней на житье, как прежде. Он говорил, что в глазах его неприятель опозорил Москву. Он продал свой большой дом на Мясницкой и переселился на житье и на службу в Петербург.

В одной из зал его дома была во всю длину стена уставлена большими зеркалами. Во время пребывания французов в Москве он говорил, что понимает, с каким удовольствием квартирующие в доме его французы должны стрелять из пистолетов в эту зеркальную стену.

* * *

Во дни процветания Библейских обществ, манифестов Шишкова и злоупотребления, часто совершенно не у места, текстами из Священного Писания, Дмитриев говорил: «С тех пор, как наши светские писатели просятся в духовные, духовные стараются применить язык свой к светскому».

К нему ходил один московский священник, довольно образованный и до того сведущий во французском языке, что, когда проходил по церкви мимо барынь со кадиллом в руках, говорил им: «Pardon, mesdames». Он не любил митрополита Филарета и критиковал язык и слог проповедей его. Дмитриев никогда не был большим приверженцем Филарета, но в этом случае защищал его. «Да помилуйте, ваше высокопревосходительство, – сказал ему однажды священник, – ну таким ли языком писана ваша *Модная жена!*»

* * *

В старой Москве жил один Левашов, очень образованный, приятного обхождения, славящийся актерским искусством своим на домашних театрах, но, по несчастью, донельзя пристрастный к пиву. Говорят, что он перед концом своим выпивал его по несколько десятков бутылок в сутки.

Дмитриев, который был с ним в приятельских отношениях, рассказывал, что в коротких ему домах он не стеснялся, но все-таки немного совестился частых требований любимого своего напитка; а потому и выражал свои требования разнообразными способами: то повелительным голосом приказывал слуге подать ему стакан пива, то просил вполголоса, то мельком и как будто незаметно в общем разговоре. Дмитриев применяет эти различные интонации к Василию Львовичу Пушкину, большому охотнику твердить и повторять свои стихи. «И он, – замечает Дмитриев, – то восторженно прочтет свое стихотворение, то несколькими тонами понизит свое чтение, то ухватится за первый попавшийся предлог и прочтет стихи свои, как будто случайно».

* * *

В Москве до 1812 г. не был еще известен обычай разносить перед ужином в чашках бульон, который с французского слова называли *consomme*.

На вечере у Василия Львовича Пушкина, который любил всегда хвастаться нововведениями, разносили гостям такой бульон, по обычаю, который он, вероятно, вывез из Петербурга или из Парижа.

Дмитриев отказался от него. Василий Львович подбегает к нему и говорит: «Иван Иванович, да ведь это *consomme*». – «Знаю, – отвечает Дмитриев с некоторой досадой, – что это не ромашка, а все-таки пить не хочу». Дмитриев, при всей простоте обращения своего, был очень щекотлив, особенно когда покажется ему, что подозревают его в незнании светских обычаев, хотя он большего света не любил и никогда не ездил на вечерние многолюдные собрания.

Было какое-то торжественное празднество в кадетском корпусе в присутствии великого князя Константина Павловича и многих высших сановников. А. Л. Нарышкин подходит к великому князю и говорит: «J'ai aussi un cadet ici». – «Я и не знал, – отвечает великий князь, – представь мне его». Нарышкин отыскивает брата своего Дмитрия Львовича, подводит его к Константину Павловичу и говорит: «Voici mon cadet». Великий князь расхохотался,

а Дмитрий Львович по обыкновению своему пуще расфыркался и встряхивал своей напудренной и тщательно завитой головой².

А. Л. Нарышкин был в ссоре с канцлером Румянцевым. Однажды заметили, что он за ним ухаживает и любезничает с ним. Спросили у него объяснить тому причину. Он отвечал, что причина в басне Лафонтена

Maitre-cordeau sur un arbre perche
Tenait en son bec un fromage:
Maitre-renard par l'odeur alleche
Lui tint a-peu-pre ce langage и пр.

(Вороне где-то Бог послал кусочек сыра и т. д.)

Дело в том, что у Румянцева на даче изготавливались отличные сыры, которые он дарил своим приятелям. Нарышкин был очень лаком и начал выхвалять сыры его в надежде, что он и его оделит гостинцем.

Нарышкин говорил про одного скучного царедворца: «Он так тяжел, что если продавать его на вес, то на покупку его не стало бы и Шереметевского имения».

* * *

Беклешов говорил о некоторых молодых государственных преобразованиях, в начале царствования императора Александра I: «Они, пожалуй, и умные люди, но лунатики. Посмотреть на них, так не удивишься: один ходит по самому краю высокой крыши, другой по оконечности крутого берега над бездной; но назови любого по имени, он очнется, упадет и расшибется в прах».

* * *

Каким должен был быть поучительным свидетелем для императора Павла, в час венчания его на царство, гость его, развенчанный и почти пленник его, король Станислав.

Впрочем, во всем поведении императора Павла в отношении к Станиславу было много рыцарства и утонченной внимательности. Эти прекрасные и врожденные в нем качества привлекали к нему любовь и преданность многих достойных людей, чуждых ласкательства и личных выгод. Они искупали частые порывы его раздражительного или, лучше сказать, раздраженного событиями нрава.

Нелединский долго по кончине его говорил о нем с теплой любовью, хотя и над ним раздражались иногда молнии царского гнева. Во время государевой поездки в Казань Нелединский, бывший при нем статс-секретарем, сидел однажды в коляске его. Проезжая через какие-то обширные леса, Нелединский сказал государю: «Вот первые представители лесов, которые далеко простираются за Урал». – «Очень поэтически сказано, – возразил с гневом государь, – но совершенно неуместно: изволь-ка сейчас выйти вон из коляски». Объясняется это тем, что сие было сказано во время Французской революции, а слово *представитель*, как и круглые шляпы, было в законе у императора.

В эту поездку лекарь Вилие, находившийся при великом князе Александре Павловиче, был ошибочно завезен ямщиком на ночлег в избу, где уже находился император Павел, соби-

² По-французски слово *cadet* имеет значение и младшего брата.

равшийся лечь в постель. В дорожном платье входит Вилие и видит перед собой государя. Можно себе представить удивление Павла Петровича и страх, овладевший Вилием. Но все это случилось в добрый час. Император спрашивает его, каким образом он к нему попал. Тот извиняется и ссылается на ямщика, который сказал ему, что тут отведена ему квартира. Посылают за ямщиком. На вопрос императора ямщик отвечал, что Вилие сказал про себя, что он анператор. «Врешь, дурак, – смеясь, сказал ему Павел Петрович, – император я, а он оператор». – «Извините, батюшка, – сказал ямщик, кланяясь царю в ноги, – я не знал, что вас двое». (Рассказано князем Петром Михайловичем Волконским, который был адъютантом Александра Павловича и сопровождал его в эту поездку.)

* * *

NN говорит: «Если, сходно с поговоркой, говорится, что рука руку моет, то едва ли не чаще приходится сказать: рука руку марает».

* * *

При Павлове (Николае Филипповиче) говорили об общественных делах и о том, что не должно разглашать их недостатки и погрешности. «Сору из избы выносить не должно», – кто-то заметил. «Хороша же будет изба, – возразил Павлов, – если никогда из нее сору не выносить».

* * *

Похороны Ф. П. Уварова (ноябрь 1824) были блестящие и со всеми возможными военными почестями. Император Александр присутствовал при них, от самого начала отпевания до окончания погребения. «Славно провожает его один благодетель, – сказал Аракчеев Алексею Федоровичу Орлову, – каково-то встретит его другой благодетель?» Историческое и портретное слово.

Кажется, с этих похорон Аракчеев пригласил Орлова сесть к нему в карету и довести его домой. «За что меня так не любят?» – спросил он Орлова. Положение было щекотливо, и ответ был затруднителен. Наконец Орлов все свалил на военные поселения, учреждение которых ему приписывается и неясно понимается общественным мнением. «А если я могу доказать, – возразил с жаром Аракчеев, – что это не моя мысль, а мысль государя: я тут только исполнитель?»

В том-то и дело, каково исполнение – мог бы отвечать ему Орлов, но, вероятно, не отвечал.

* * *

Статфорд (знаменитый Канинг) приезжал в Россию от имени английского правительства для переговоров по греческим делам. Был он и в Москве на самую Пасху. Гуляя по Подновинскому, заметил он, что у нас, в противность английским обычаям, полиция везде на виду. «Это нехорошо; некоторые предметы требуют себе оболочки: природа нарочно, кажется, сокрыла от глаз наших течение крови».

Посетив Московский военный госпиталь, удивился он великолепию его и всем удобствам, устроенным для больных. «Если был бы я русским солдатом, – сказал он, – то, кажется, желал бы всегда быть больным».

Канинг много уважает Поццо-ди-Борго и политическую прозорливость его. Он знал его в Константинополе: в самую пору славы и могущества Наполеона не отчаивался Поццо в низвержении его. Впрочем, и Петр Степанович Валуев, который не был никогда глубокомысленным политиком, как будто носил во чреве своем пророческое убеждение, что Наполеону несдобровать. Вскоре после рождения Римского королька, сказал он однажды Алексею Михайловичу Пушкину: «Не могу придумать, что сделают с этим мальчишкой». – «Какой мальчишка?» – «Наполеонов сын!» – «Кажется, – возразил Пушкин, – пристроиться ему будет нетрудно; он наследует французский престол». – «Какой вздор! Наполеон заживо погибнет, и все приведено будет в прежний порядок».

В прогулке по Подновинскому говорили мы с ним о великане, которого показывают в балагане и который, по замечанию врачей, должен умереть, когда перестанет расти. В тот же день за обедом с Канингом разговорились о Наполеоне; вспомнили, что он не умел довольствоваться тем, что казалось Фридриху верхом счастья. «Ничего человеку, – говаривал он, – присниться лучшего не может, как быть королем Франции». Канинг заметил, что Наполеону новые завоевания были нужны и необходимы, чтобы удержаться на престоле. Я применил к нему замечание, сделанное мной о великане: в натуре Наполеона, может быть, была потребность или все расти, или умереть.

Канинг сказывал, что читал письмо Байрона, в котором он писал издателю и книгопродавцу своему: «Чтобы наказать Англию, я учусь итальянскому языку и надеюсь быть чрез несколько лет в состоянии писать на нем, как на английском. На итальянском языке напишу лучшее свое произведение, и тогда Англия узнает, кого она во мне лишилась». Она думает, что Байрон не мог бы играть значительной роли и овладеть событиями Греции. По словам его, он был человек великой души, но слабых нервов и слишком подвержен потрясению под силой внешних впечатлений. Однажды спросил он его, когда явится в свет книга приятеля его Гоб-Гуза, а именно путешествие его по Греции. «Гоб-Гуз, – отвечал Байрон, – одной природы со слонихою».

О немецких переводах с древних языков, гекзаметрами, говорит он, что как они ни верны, но безжизненны. «Предпочтительно (продолжал он) знать поэта в младенчестве его, чем знать черты его».

Следующее тоже из разговора Канинга.

Еще до напечатания книги своей о посольстве в Варшаве, Прадт изустно и часто упоминал о восклицании, которое влагал он в уста Наполеона: «Одним человеком менее, и я был бы властелином вселенной».

При первом свидании с Велингтоном, после первых и лестных приветствий касательно военных действий его в Испании, Прадт, в кружке слушателей, около них собравшихся, отпустил Велингтону вышеупомянутое изречение Наполеона. Велингтон с достоинством и смирением опустил голову; но тот, не дав ему времени распрямиться, с жаром продолжал: «И этот человек я». Посудите о *coup de theatre* (драматическом эффекте) и о неожиданности, выразившейся в лице Велингтона и других слушателей.

Вообще разговор Канинга степенен, но приятен и разнообразен. Речь его похожа на самое лицо его: при первом впечатлении оно несколько холодно, но ясно и во всяком случае очень замечательно. Даже не лишено оно некоторых оттенков простодушия, если не проникать слишком вглубь. Впрочем, разумеется, он в России не показывался нараспашку. Все же должна была быть некоторая дипломатическая драпировка.

* * *

В Твери, за столом у великой княгини Екатерины Павловны и в присутствии государя, разговорились о Екатерине Великой. Граф Алексей Иванович Пушкин, современник ее цар-

ствования, говорил о ней с жаром и так разнежился, что прослезился. На этом разговор пресекался. После обеда граф Пушкин с растревоженным лицом подходит к Растопчину и говорит ему: «Кажется мне, что я за обедом некстати заплакал».

* * *

Безбородко говорил об одном своем чиновнике: «Род человеческий делится на *он* и *она*, а этот – *оно*».

* * *

Доклады и представления военных лиц происходили у Аракчеева очень рано, чуть ли не в шестом или седьмом часу утра.

Однажды представляется ему молодой офицер, приехавший из армии и мертво-пьяный, так что едва держится на ногах и слова выговорить не может. Аракчеев приказал арестовать его и свести на гауптвахту. В течение дня Аракчеев призывает к себе адъютанта своего князя Илью Долгорукова и говорит ему: «Знаешь ли, у меня не выходит из головы этот молодой пьяный офицер: как мог он напиться так рано, и еще пред тем, чтобы явиться ко мне! Тут что-нибудь да кроется. Потрудись съездить на гауптвахту и постарайся разведать, что это значит».

Молодой офицер, немного отрезвившись, признается Долгорукову: «Меня в полку напугали страхом, который граф Аракчеев наводит, когда представляются к нему; уверяли, что при малейшей оплошности могу погубить карьеру свою на всю жизнь, и я, который никогда водки не пью, для придачи себе бодрости, выпил залпом несколько рюмок водки. На воздухе меня разобрало, и я к графу явился в этом несчастном положении. Спасите меня, если можно!»

Долгоруков возвратился к Аракчееву и все ему рассказал. Офицера приказано было тотчас выпустить из гауптвахты и пригласить на обед к графу на завтрашний день. Понимается, что офицер явился в назначенный час совершенно в трезвом виде. За обедом Аракчеев обращается с ним очень ласково. После обеда, отпуская его, сказал ему: «Возвратись в свой полк и скажи товарищам своим, что Аракчеев не так страшен, как они думают». (Рассказано князем Ильей Долгоруковым.)

* * *

После некоторого отсутствия великий князь, возвратившись в Варшаву, был на смотре недоволен своим любимым польским 4-м полком: полк что-то шагал не так, как следует. После многих вспышек гнева великий князь, отъезжая от полка, приказал Куруте заняться им и привести все в надлежащий порядок. «Слушаюсь, ваше императорское высочество, – отвечал Курута и, вынимая часы из кармана, прибавил: – Через полчаса шаг будет отыскан». К означенному времени цесаревич возвратился; ряды шагали как следует, и Куруте, и полку была изъявлена благодарность.

* * *

Какой-то шутник уверяет, что когда в придворной церкви при молитве «Отче наш» поют: «Но избави нас от лукавого», то князь Меншиков, крестясь, искоса глядит на Ермолова, а Ермолов делает то же, глядя на Меншикова.

* * *

Лукавство и хитрость очень ценятся царедворцами; но в прочем это мелкая монета ума: при одной мелкой монете ничего крупного и ценного не добудешь.

* * *

Говорят, что Растопчин писал в 1814 г. к жене своей: «Наконец его императорское величество милостиво согласился на увольнение мое от генерал-губернаторства в этом негодном городе» («*cette coquine de ville*»).

Во всяком случае нет сомнения, что *негодница Москва* была довольна увольнением Растопчина. При возвращении его в Москву, освобожденную от неприятеля, и когда мало-помалу начали съезжаться выехавшие из нее, общественное мнение оказалось к Растопчину враждебным. В дни опасности все в восторженном настроении патриотического чувства были готовы на все возможные жертвы. Прошла опасность, и на принесенные жертвы и на понесенные убытки стали смотреть другими глазами. Хозяева сгоревших домов начали сожалеть о них и думать, что, может быть, и не нужно было их жечь. Они говорили, что одна из причин, которая погубила Наполеона, заключается в том, что он слишком долго зажился в Москве. Пожар Москвы мог бы испугать его и вынудить идти по пятам отступающей нашей армии, которая с трудом могла бы устоять перед его преследованием. Как бы то ни было, но разлад между Растопчиным и Москвой доходил до высшей степени. Растопчин был озлоблен неприязненным и, по мнению его, неблагодарным чувством московских жителей. Он, кажется, сохранил это озлобленное чувство до конца жизни своей.

На празднике, данном в Москве в доме Полторацкого после вступления наших войск в Париж, это недоброжелательство к Растопчину явилось в следующем случае. Когда пригласили собравшихся гостей идти в залу, где должно было происходить драматическое представление, князь Юрий Владимирович Долгоруков поспешил подать руку Маргарите Александровне Волковой и первый вошел с ней в залу. Вся публика пошла за ним. Граф Растопчин остался один в опустевшей комнате. Когда кто-то из распорядителей праздника пригласил его пойти занять приготовленное для него место, он отвечал: «Если князь Юрий Владимирович здесь хозяйничает, то мне здесь и делать нечего, и я сейчас уеду». Наконец, после убедительных просьб и удостоверения, что спектакль не начнется без него, уступил он и вошел в залу.

* * *

Граф Ираклий Иванович Марков, командовавший московским ополчением, носил мундир ополченца и по окончании войны. Растопчин говорил, что он воспользовался войной, чтобы не выходить из патриотического халата.

* * *

Еще до написания *Дома Сумасшедших* Воейков написал в прозе *Придворный Парнасский Календарь*. В нем, между прочим, было сказано, что Кокошкин состоит на службе при Мерзлякове восклицательным знаком.

Кокошкин, переводчик *Мизантропа*, был отъявленный классик. В то время, когда начали у нас толковать о романтизме, он как от заразы остерегал от него литературную моло-

дежь, которая находилась при нем. Как директор театра особенно восставал он против Шекспира и его последователей. «Ведь вы знаете меня, – говорил он молодым людям, – я человек честный, и какая охота была бы мне вас обманывать: уверяю вас, честью и совестью, что Шекспир ничего хорошего не написал и сущая дрянь». (Рассказано Павловым, Николаем Филипповичем.)

* * *

Князь Димитрий Владимирович Голицын – настоящий московский градоначальник. Он любил Москву и с жаром всегда и везде отстаивает ее права. Однажды сказал он шутя: «Вот Петербург все хвастается пред нами, а случись какая-нибудь потребность, он к нам же обращается. Понадобилось Петербургу иметь при Дворе отличную певицу, и взяли из Москвы девицу ***. Понадобился Петербургу искусный врач, и вызвали из Москвы Маркуса. Понадобился вельможа, и переманили у нас Лазарева».

Старший из братьев Лазаревых, Иван Иоакимович, был долгое время коренным москвичом, известный своим простодушием и хлебосольством. Он любил задавать на славу обеды Андреевским и Александровским кавалерам и прочим предержащим властям, пребывающим в Москве и проезжающим через Москву. К чести его должно прибавить, что он известен в Москве и щедрой заботливостью об Институте Восточных Языков, которого он состоял попечителем. Незадолго перед тем переехал он на житье в Петербург.

* * *

Шишков говорил однажды о своем любимом предмете, т. е. о чистоте русского языка, который позорят введениями иностранных слов. «Вот, например, что может быть лучше и ближе к значению своему, как слово *дневальный*? Нет, вздумали вместо него ввести и облагородить слово *дежурный*, и выходит частенько, что дежурный бьет по щекам дневального».

* * *

Адмирал Чичагов, после Березинской передраги, не взлюбил России, о которой, впрочем, говорят, отзывался он и прежде свысока и довольно строго.

Петр Иванович Полетика, встретившись с ним в Париже и прослушав его нарекания всему, что у нас делается, наконец сказал ему со своей квакерской (а при случае и язвительной) откровенностью: «Признайтесь, однако же, что есть в России одна вещь, которая так же хороша, как и в других государствах». – «А что, например?» – спросил Чичагов. «Да хоть бы деньги, которые вы в виде пенсии получаете из России».

Чичагов был назначен членом Государственного Совета. После нескольких заседаний перестал он ездить в Совет. Доведено было о том до сведения государя. Император Александр очень любил Чичагова, но, однако же, заметил ему его небрежение и просил быть впредь точнее в исполнении обязанности своей. Вслед за этим Чичагов несколько раз присутствовал и опять перестал. Уведомясь о том, государь с некоторым неудовольствием повторил ему замечание свое. «Извините, ваше величество, но в последнем заседании, на котором я был, – отвечал Чичагов, – шла речь об устройстве Камчатки, а я полагал, что все уже устроено в России, и собираться Совету не для чего».

Вот осьмиистишие, ходившие по рукам:

Вдруг слышен шум у входа.

Березинский герой
Кричит толпе народа:
Раздвиньтесь предо мной!
– Пропустите его, тут каждый повторяет.
Держать его грешно бы нам.
Мы знаем, он других и сам
Охотно пропускает.

* * *

В какой-то элегии находятся следующие два стиха, с которыми поэт обращается к своей возлюбленной:

Все неприятности по службе
С тобой, мой друг, я забывал.

Пушкин, отыскавши эту элегию, говорил, что изо всей русской поэзии эти два стиха самые чисто русские и самые глубоко и верно прочувствованные.

* * *

Денис Давыдов спрашивал однажды князя К***, знатока и практика в этом деле, отчего вечером охотнее пьешь вино, нежели днем? – «Вечером как-то грустнее», – отвечал князь с меланхолическим выражением в лице. Давыдов находил что-то особенно поэтическое в этом ответе.

* * *

Когда граф Марков был посланником в Стокгольме, назначен был к нему секретарем Д***, добрый и порядочный человек, но ума недалекого.

Однажды после обеда, который Марков давал в честь дипломатического корпуса, заметил он, что собрался кружок дипломатов около Д***, который с большим жаром твердил: «И вот так, и вот этак» (et comme si et comme ça) и размахивал руками. Марков почувствовал беду. Он подошел к кружку и спросил одного из слушателей, о чем идет речь. «Господин секретарь, – отвечал тот, – изволит объяснять нам, как производится сечение кнутом в России».

* * *

Московский чудак К***, отличавшийся высокопарной речью, рассказывал, что когда войска наши при отступлении переходили через Москву, он подошел к одному из полковых командиров и спросил его: «Позвольте узнать, что знаменует сие быстрое движение наших войск?» – «А то, – отвечал ему тот, – что через полчаса французы будут в Москве, и советую вам скорее убираться прочь». «Тут, признаюсь, – продолжал К***, – опустил масштаб моих тактических понятий, и я не знал, на что решиться».

* * *

Карамзин искренно любит и уважает графа Растопчина, но признает в нем некоторое легкомыслие (которое так противоречит натуре Карамзина), особенно в критические дни, предшествовавшие сдаче Москвы.

Он жил тогда на даче у графа. Однажды разговорились они о событиях, совершающихся в России, и о тех, которых можно было опасаться в близком будущем. Оба говорили, разумеется, с жаром, и Карамзин глубоко сочувствовал патриотическим убеждениям Растопчина. После долгого разговора граф ушел в свой кабинет; не прошло и пяти минут, Карамзин слышит громкий хохот графа. Удивленный такому скорому переходу, идет он к графу, чтобы узнать, что могло пробудить в нем порыв этой веселости. Оказалось, что доктор его Шнауберт что-то соврал по-французски.

Карамзин удивлялся и тому, что в эти дни граф мог ежедневно ездить на вечер к князю Хованскому, у которого собиралось довольно пустое общество. Вследствие этого курьеры, беспрестанно приезжавшие к нему в его загородный дом, должны были иногда далеко полночь ехать из-за Красных ворот отыскивать его на Пречистенке, для передачи бумаг или словесных сообщений.

* * *

Денис Давыдов уверял, что когда Растопчин представлял Карамзина Платову, атаман, подливая в чашку свою значительную долю рому, сказал: «Очень рад познакомиться; я всегда любил сочинителей, потому что они все пьяницы».

* * *

Императрица Екатерина отличалась необыкновенной тонкостью и вежливостью в обращении с людьми. Однажды на бале хотела она дать приказание дежурному камер-пажу и сделала знак рукой, чтобы позвать его к себе. Но он того не заметил, а вице-канцлер Остерман вообразил, что этот знак к нему обращен. Опираясь на свою длинную трость, поспешил он к ней подойти. Императрица встала со своих кресел, подвела его к окну и несколько времени с ним говорила. Потом, возвратившись на свое место, спросила графиню Головину, довольна ли она ее вежливостью. «Могла ли я поступить иначе? – продолжала императрица. – Я огорчила бы старика, давши ему почувствовать, что он ошибся; а теперь, сказав ему несколько слов, я оставила его в заблуждении, что я в самом деле его подзывала. Он доволен, вы довольны, а следовательно, довольна и я».

В другой раз гофмаршал князь Барятинский ошибкой вместо девицы графини Паниной пригласил на вечер в Эрмитаж графиню Фитингоф, о которой императрица и не думала. Увидя неожиданную гостью, императрица удивилась, но не дала этого заметить, а только приказала тотчас послать приглашение графине Паниной; графиню же Фитингоф велела внести в список лиц, приглашаемых в большие эрмитажные собрания, с тем, чтобы не могла догадаться она, что на этот раз была приглашена ошибочно.

Императрица очень любила старика Черткова. Он был неприятный и задорный игрок. Однажды, играя с ней в карты и проиграв от нее игру, он так рассердился, что с досады бросил карты на стол. Она ни слова не сказала и, как вечер уже кончился, встала, поклонилась присутствующим и ушла в свои покои. Чертков остолбенел и обмер. На другой день, в воскресенье, был обыкновенный во дворце воскресный обед. В это день обед был в Цар-

скосельской колоннаде. Гофмаршал князь Барятинский вызывал лица, которые были назначены императрицей к собственному ее столу. Несчастный Чертков прятался и стоял в углу, ни жив, ни мертв. Вдруг слышит он, что подзывают и его, и сам не верит ушам своим. Когда подошел он, императрица встала, взяла Черткова за руку и прошла с ним по колоннаде, не говоря ни слова. Возвратясь к столу, сказала она ему: «Не стыдно ли вам думать, что я могла быть на вас сердита? Разве вы забыли, что между друзьями ссоры не должны оставлять по себе никаких неприятных следов?»

Во время путешествия императрицы в южную Россию, она ехала в шестиместной карете. Иван Иванович Шувалов и граф Кобенцель находились с ней бессменно. Лорд Сент-Эленс и граф Сегюр приглашались в карету поочередно. На императрице была прекрасная шуба, бархатом покрытая. Австрийский посол похвалил ее. «Один из моих камердинеров занимается этой частью моего туалета, – сказала императрица, – он так глуп, что другой должности поручить ему не могу». Граф Сегюр, в минуту рассеяния, расслышав только похвалы шубе, поспешил сказать: «*tel maitre, tel valet*» (каков барин, таков и слуга). Общий взрыв смеха встретил эти слова. За обедом в дороге граф Кобенцель сидел всегда возле нее. В тот же день императрица шутя сказала ему, что он, вероятно, начинает скучать своей постоянно соседкой. На этот раз нашла и на Кобенцеля минута рассеяния, подобно рассеянию графа Сегюра, и он отвечал, вздыхая: «*On ne choisit pas ses voisins*» (соседей своих не выбираешь). Эта вторая выходка возбудила такой же смех, как и первая. Наконец, в тот же день вечером императрица привлекла общее внимание каким-то интересным рассказом. Лорда Эленса тогда не было в комнате. Когда он возвратился, императрица по просьбе всего общества соизволила повторить для него свой рассказ. Лорд Сент-Эленс, утомленный с дороги, начал, слушая ее, зевать и скоро задремал. «Этого только недоставало, господа, чтобы довершить любезность вашу, – сказала императрица, – я вполне довольна».

Никто не мог быть величественнее императрицы во время торжественных приемов. Никто не мог быть ее приветливее, любезнее и снисходительнее в малом кругу приближенных к ней лиц. Перед тем, чтобы садиться за игру в карты, окидывала она общество взглядом, желая убедиться, что каждый пристроен. Она до того простирала внимание, что приказывала опускать шторы, когда замечала, что солнце кому-нибудь неприятно светит в глаза. Однажды играла она на биллиарде с кем-то из приближенных царедворцев. В это время вошел Иван Иванович Шувалов. Императрица низко ему присела. Присутствующие почли это насмешкой и засмеялись принужденным и угодливым смехом. Императрица приняла серьезный вид и сказала: «Вот уже сорок лет, что мы друзья с господином обер-камергером, а потому нам очень извинительно шутить между собою».

Все эти подробности о императрице Екатерине собраны из рассказов графини Головиной.

Князь Юсупов говорит, что императрица любила повторять следующую пословицу: «*Ce n'est pas tout que d'etre grand seigneur, il faut encore etre poli*» (не довольно быть вельможею, нужно еще быть учтивым).

Князь Яков Иванович Лобанов говорит, что императрица имела особенный дар приспособлять к обстоятельствам выражение лица своего. Часто после вспышки гнева в кабинете подходила она к зеркалу, так сказать углаживала, прибирала черты свои и являлась в приемную залу со светлым и царственно приветливым лицом. Так, сказывают, было когда она получила известие о революционном движении и кровавом событии в Варшаве. Императрице доложили о приезде курьера. Она пошла в свой кабинет, прочла доставленные ей донесения и выслушала рассказы приезжего. Можно представить себе, как все это ее взволновало. Она очень всплила и топала ногой. Пробыв несколько времени в кабинете, возвратилась она в комнату, где оставила свое общество, с великим князем Константином Павловичем под руку и, смеясь, сказала: «Не осуждайте меня, что являюсь с молодым человеком».

Она досидела весь вечер, как будто ни в чем не бывало, и никто не мог догадаться, что у нее было на уме и на душе.

Вот еще любопытные очерки из рассказов той же графини Головиной: «В 1790 году, муж мой, в чине полковника, получил полк и отправился в армию. Вскоре затем поехала я к нему. Квартира была в Бендерах. Тут нашла я княгиню Долгорукую и г-жу Витте, бывшую впоследствии графиней Потоцкой. Муж мой, по распоряжению начальства, отправился к осажденной Килии. Он командовал конным полком, но на этот раз дали ему пехотный полк. Я была очень огорчена отъездом его: мне было как-то неловко оставаться в этом военном лагере, где с часу на час ожидали князя Потемкина. Я отстала от общества и заперлась дома, чтобы избежать волнений и суматохи, которые обыкновенно бывали в ожидании князя. Наконец он приехал и прислал приглашение мне к себе на вечер. Мне советовали быть особенно внимательной и почтительной с князем, который здесь едва ли не царствует. «Я знакома с ним, – отвечала я, – и встречалась у дяди моего (Ивана Ивановича Шувалова); не знаю, почему мне быть с ним иначе, как и прежде бывала».

Князь встретил меня с отменной вежливостью. Большая комната полна была генералами, между коими заметила я князя Репнина: он держался так почтительно, что это неприятно меня удивило. Вечеринки у князя Потемкина часто возобновлялись. Роскошь и величие всей обстановки доходили до высшей степени. Это было азиатское волшебство. В те дни, когда не было бала, собирались обыкновенно в диванной комнате. Мебели обиты были тканью серебряной и розовой; таким же ковром был обит и пол. На красивом столе стояла филигранная курильница, в которой горели аравийские благовония. Князь обыкновенно носил платье с собольей опушкой, алмазную звезду и ленты, Георгиевскую и Андреевскую. За столом служили велико-рослые кирасиры, одетые в красные колеты. На головах были черные меховые шапки с султаном. Перевязи их были посеребрены. Они шли попарно и напоминали театральные солдаты. В продолжении ужина, прекрасно устроенный оркестр, при пятидесяти роговых инструментах, исполнял лучшие симфонии. Но все это меня не веселило и не занимало, и жила я одной надеждой вырваться из этого круга.

Однажды пушечная пальба возвестила взятие Килии. Я, не помня себя от радости, узнав, что мой муж жив и здоров, поспешила к молебствию. Тут просила я князя приказать мужу моему возвратиться. Князь обещал исполнить мою просьбу и в самом деле тотчас же отправил ордер спросить графа Головина, хочет ли он того или нет. Муж был только в ста верстах от нас и приехал верхом на другой день. Мне хотелось немедленно возвратиться в Петербург. Но вскоре должны были праздновать день Св. Екатерины. Князь Потемкин был всегда так приветлив и благосклонен ко мне, что неловко было бы нам уехать до праздника, и мы выезд свой отсрочили.

В день праздника повезли нас в линейках мимо двухсоттысячной армии, расставленной по обеим сторонам дороги. Войска нам салютовали. Подъехали мы к обширной подземной зале, богато и роскошно убранной. В верхней галерее были музыканты. Звуки инструментов, раздававшиеся в подземелье, были несколько глухи, но это самое придавало им какую-то пленительную таинственность. На обратном пути сопровождала нас непрерывная пальба. Бочки с зажженной смолой, расставленные по дороге, служили нам фонарями».

Читая эти описания, нельзя не вспомнить, что Державин метко сказал про Потемкина: «Великолепный князь Тавриды».

* * *

Князь Платон Степанович Мещерский был при Екатерине наместником в Казани, откуда приехал он с разными проектами и бумагами для представления их на благоусмотрение императрицы. Бумаги были ей отданы, и Мещерский ожидал приказа явиться к

императрице для доклада. Однажды на куртаге императрица извиняется перед ним, что еще не призывала его. «Помилуйте, ваше величество, я ваш, дела ваши, губернии ваши; хоть меня и вовсе не призывайте, это совершенно от вас зависит». Наконец день назначен. Мещерский является к императрице и перед началом доклада кладет шляпу свою на столик ее, запросто подвигает стул себе и садится. Государыня сначала была несколько удивлена такой непринужденностью, но потом, разобрав его бумаги и выслушав его, осталась им очень довольна и оценила его ум.

Павел Петрович, будучи еще великим князем, полюбил его. Однажды был назначен у великого князя бал в Павловске или Гатчине. Племянник Мещерского, граф Николай Петрович Румянцев, встретясь с ним, говорит ему, что надеется видеться с ним в такой-то день. «А где же?» – «Да у великого князя: у него бал, и вы, верно, приглашены». – «Нет, – отвечает Мещерский, – но я все-таки приеду». – «Как же так? Великий князь приглашает, может быть, только своих приближенных». – «Все равно, я так люблю великого князя и великую княгиню, что не стану ожидать приглашения». Румянцев для предупреждения беды счел за нужное доложить о том великому князю, который, много смеявшись тому, велел пригласить Мещерского.

Поговорка: *шарам стала, плохом стала*, ведется от этого Мещерского. Эти слова сказаны о нем казанским татаринном.

При проезде Мещерского через какой-то город Казанской губернии, городничий не велел растворять ворота какого-то здания, хотел провести его через калитку. «Это что? – говорит наместник. – Я-то пролезу, но чин мой не пролезет».

Император Павел, собираясь ехать в Казань, сказал ему: «Смотри, Мещерский, не проводи меня через калитку: мой чин еще повыше твоего». (Рассказано Петром Степановичем Молчановым.)

* * *

А право, напрасно закидали у нас бедного Тредьяковского такой грязью: его правила о стихосложении вовсе не дурны. Его мысль, что наш язык должен образоваться употреблением, что *научат нас им говорить благоразумные министры* и проч., очень справедлива. Он чувствовал, что один письменный язык есть язык мертвый. Здесь он как будто предчувствует и предугадывает Карамзина. Но как Моисей, он сам не успел и не умел достигнуть обетованной земли. Надобно когда-нибудь сличить Тредьяковского и Хвостова в переводе их поэмы Буало: *L'art poetique*.

Досужных дней труды, или трудов излишки,
О, малые мои, две собранные книжки,
Вы знаете, что вам у многих быть в руках,

сказал Тредьяковский в предисловии к одному из своих сочинений. Чем же это не нашего времени стихи? В них и ясность, и простота. *Наперстничество* употреблено у него в смысле *соперничество*. Жаль, что в наших словарях не приводят примеров различного употребления слов и выражений, какими являются они в разных литературных эпохах и у разных писателей. Наши словари доньше более или менее полное собрание слов, а не указатели языка, как французские словари, по коим можно пройти почти полный курс истории французского языка и французской литературы.

Кажется, мало известна эпиграмма Крылова на переведенную Хвостовым поэму Буало:

«Ты ль это, Буало? Скажи, что за наряд?
Тебя узнать нельзя; конечно, ты вздурился?»
– Молчи, нарочно я в Хвостова нарядился:
Я еду в маскарад.

* * *

Говорили о поколенном портрете О*** (отличающегося малоросл остью), писанном живописцем Варнеком. «Ленив же должен быть художник, – сказал NN, – немного стоило бы труда написать его и во весь рост».

* * *

Греч где-то напечатал, что Булгарин в мизинце своем имеет более ума, нежели все его противники.

«Жаль, – сказал NN, – что он в таком случае не пишет одним мизинцем своим».

* * *

Бенкендорф (отец Александра Христофоровича) был очень рассеян. Проезжая через какой-то город, зашел он на почту проведать, нет ли писем на его имя. «А как ваша фамилия?» – спрашивает его почтовый чиновник. «Моя фамилия?» – повторяет он несколько раз и никак не может ее вспомнить. Наконец говорит, что придет после и уходит. На улице встречается он со знакомым. «Здравствуйте, Бенкендорф». – «Как ты сказал? Да, да, Бенкендорф», – и тут же побежал на почту.

Однажды он был у кого-то на бале. Бал довольно поздно окончился, гости разъехались. Остались друг перед другом только хозяин и Бенкендорф. Разговор шел плохо, тому и другому хотелось отдохнуть и спать. Хозяин, видя, что гость его не уезжает, предлагает, не пойти ли им в кабинет. Бенкендорф, поморщившись, отвечает: «Пожалуй, пойдем». В кабинете было им не легче. Бенкендорф, по своему положению в обществе, пользовался большим уважением. Хозяину нельзя же было объяснить напрямик, что пора бы ему ехать домой. Прошло еще несколько времени, наконец хозяин решился сказать: «Может быть, экипаж ваш еще не приехал, не прикажете ли, я велю заложить вам свою карету». – «Как вашу карету? Да я хотел предложить вам свою». Дело объяснилось тем, что Бенкендорф вообразил, что он у себя дома, и сердился на хозяина, который у него так долго засиделся.

Бенкендорф был один из самых близких людей при дворе их высочеств Павла Петровича и Марии Федоровны. Отношения эти никогда не изменялись. В последние годы жизни своей переехал он на житье в Ригу. Ежегодно в день именин и в день рождения императрицы Марии Федоровны писал он ей поздравительные письма. Но он был чрезвычайно ленив на письма и, несмотря на всю преданность свою и на свои сердечные чувства, очень тяготился этой обязанностью. Когда подходили сроки, мысль написать письмо беспокоила и смущала его. Он часто говаривал: «Нет, лучше сам отправлюсь в Петербург с поздравлением. Это будет легче и *скорее*».

* * *

Граф Остерман, брат вице-канцлера, тоже славился своей рассеянностью.

Однажды шел он по паркету, по которому было разостлано посередине полотно. Он принял его за свой носовой платок, будто выпавший, и начал совать его в свой карман. Наконец общий хохот присутствующих дал ему опомниться.

В другой раз приехал он к кому-то на большой званый обед. Перед тем как войти в гостиную, зашел он в особую комнатку. Там оставил он свою складную шляпу и вместо нее взял деревянную крышку и, держа ее под руку, явился с нею в гостиную, где уже собралось все общество.

За этим обедом или за другим, зачесалась у него нога, и он, принимая ногу соседки своей за свою, начал тереть ее.

* * *

В наше время отличается рассеянными своими граф Михаил Вьельгорский. Против воли своей, но по необходимой обязанности, отправился он к кому-то с визитом. И когда лакей, возвратясь к дверцам кареты, сказал ему, что принимают, поспешно выговорил он ему: «Скажи, что меня дома нет».

* * *

К Державину навязался сочинитель прочесть ему произведение свое. Старик, как и многие другие, часто засыпал при слушании чтения. Так было и в этот раз. Жена Державина, возле него сидевшая, поминутно толкала его. Наконец сон так одолел Державина, что, забыв и чтение, и автора, сказал он ей с досадой, когда она разбудила его: «Как тебе не стыдно: никогда не даешь мне порядочно выспаться».

* * *

Толковали о несчастной привычке русского общества говорить по-французски. «Что же тут удивительного? – заметил кто-то. – Какому же артисту не будет приятнее играть на усовершенствованном инструменте, хотя и заграничного привоза, чем на своем домашнем, старого рукоделья?»

Французский язык обработан веками для устного и письменного употребления. Богатое родовое латинское наследство еще обогатилось многими благоприобретенными сокровищами, открытиями и удобствами деятельной умственной промышленности, доведенной и развитой до роскоши. Недаром французы слывут говорунами: им и дар слова, и книги в руки. Французы преимущественно народ разговорчивый. Язык их преимущественно язык разговорный. На других языках говорят, а не разговаривают. Слово *causerie* исключительно французское слово: оно не имеет равнозначительного выражения на других языках.

Шатобриан говорит где-то, что французские переселенцы в американских пустынях ходят за 30 и 40 миль и более, чтобы наговориться досыта со своими единоземцами, поселенными в других местах. Подобное преимущество французского языка рождает и владчество его. Пожалуй, оно и грустно, и досадно, а пока делать нечего. Тут кстати применить довольно непонятную русскую пословицу: нужда научит калачи есть. Французский язык – калач образованного и высшего нашего общества.

* * *

Известно, что не только Бонапарт, но и Наполеон на вершине могущества своего, не пренебрегал журналистикой. И она была в руках его броненосным оружием, которое он обращал на противников своих, готовясь их поработить или застрашать. Он и сам нередко писал газетные статьи или заставлял писать других под своим вдохновением.

В Англии издавалась газета *Лондонский Курьер*, вероятно, на французские деньги. В № 14, в парижской корреспонденции, от 18 февраля 1802 г., напечатана статья против графа Маркова, бывшего тогда посланником в Париже. Из этой статьи видно, что какой-то Фульо (Foilleau) рассылал по Европе скорописные вести (*nouvelles a la main*), неблагоприятные первому консулу и французскому правительству. Он был арестован. В министерстве полиции производили следствие над ним. По следствию оказалось, что он получал денежные пособия за эти бюллетени, и справедливо или нет, но французское правительство подозревало, что тут замешаны и Марковские деньги.

Изложив ход всего дела, лондонская газета прибавляет, что «никто не мог ожидать, что имя графа Маркова будет упомянуто по этому делу. Смешно было бы серьезно опровергать подобные небылицы и смотреть на них, как на государственные дела. Но нужно указывать на должность посла, соблюдая большую осторожность, строгое приличие и достоинство во всех поступках своих, чтобы не нарушить уважения и доверенности правительства, при коем он аккредитован».

Тут же рассказывается, что вскоре после этого дела первый консул, встретясь с Марковым, спросил его: не по бюллетеням ли дает он двору своему сведения о положении Франции? Марков, смущенный и пристыженный, не мог от замешательства ничего сказать на выходку Бонапарта. Спустя несколько секунд собрался он что-то сказать, но улыбка первого консула показала ему, что он не придает никакой важности этому делу.

Графа Маркова обвиняют некоторые в недостатке твердого и самобытного характера. Он очень умен и остер, но в дипломатии и вообще в государственных делах этого недостаточно. Главное дело: способность умно вести себя, что гораздо мудрее и реже встречается, чем способность умно говорить. Маркова еще в царствование Екатерины обвиняли в неудаче переговоров со шведским королем, перед помолвкой его с великой княжной Александрой Павловной. Во время посольства его в Париже упрекали его, что он иногда слишком мирволит Бонапарту, то досаждал ему вздорными и задорными выходками, вследствие коих и вынужден он был выехать из Парижа и за что, впрочем, награжден был Андреевской лентой.

Стакельберг, старик царствования Екатерины, сказал о нем: «C'est un fat d'orgueil et de mechancete» (он нахал надменности и злости).

* * *

Меттерних говорил в Вене, во время конгресса, что он был бы совершенно счастлив, когда бы не долгие обеды Стакельберга и не широкие шаровары лорда Стюарта.

Гнев Меттерниха не был ли в нем бессознательным предчувствием, что из всего, что было и делалось на Венском конгрессе, едва ли не одни широкие панталоны Стюарта удержатся, получат авторитет и войдут в законную силу и в общее употребление. (Должно знать, что тогда панталоны не были еще в употреблении, что не иначе старики и молодежь являлись в общество, как в коротких штанах. Общее уничтожение головной пудры тоже состоялось уже после Венского конгресса.)

* * *

Кстати о пудре. Андрие был плохой актер и муж знаменитой по дарованию актрисы и певицы Филис Андрие. Император Александр и петербургская публика очень к ней благоволили, а потому были снисходительны и к мужу.

Назначен был спектакль в Эрмитаже. Утром того дня Андрие, встретясь с государем на Дворцовой набережной, спросил его, может ли он вечером явиться на сцене ненапудренный.

«Делайте, как хотите», – отвечал государь.

«Oh! Je sais bien, Sire, que Vous etes bon enfant; mais que dira la maman?» (О, я знаю, государь, вы добрый малый, но что скажет маменька?)

* * *

«Вы готовите себе печальную старость», – сказал князь Талейран кому-то, кто хвастался, что никогда не брал карты в руки и надеется никогда не выучиться никакой карточной игре.

Если определение Талейрана справедливо, то нигде не может быть такой веселой старости, как у нас. Мы с малолетства приучаемся и готовимся к ней окружающими нас примерами и собственными попытками. Нигде карты не вошли в такое употребление, как у нас: в русской жизни карты одна из непреложных и неизбежных стихий. Везде более или менее встречается в отдельных личностях страсть к игре, но к игре, так называемой азартной.

Страстные игроки были везде и всегда. Драматические писатели выводили на сцене эту страсть со всеми ее пагубными последствиями. Умнейшие люди увлекались ею. Знаменитый французский писатель и оратор Бенжамен Констан был такой же страстный игрок, как и страстный трибун.

Пушкин, во время пребывания своего в южной России, куда-то ездил на несколько сот верст на бал, где надеялся увидеть предмет своей тогдашней любви. Приехав в город, он до бала сел понтировать и проиграл всю ночь до позднего утра, так что прогулял и все деньги свои, и бал, и любовь свою.

Богатый граф Сергей Петрович Румянцев, блестящий вельможа времен Екатерины, человек отменного ума, большой образованности, любознатель по всем отраслям науки, был до глубокой старости подвержен этой страсти, которой предавался, так сказать, запоем. Он запирался иногда дома на несколько дней с игроками, проигрывал им баснословные суммы и переставал играть впредь до нового запоя.

Подобная игра, род битвы на жизнь и смерть, имеет свое волнение, свою драму и поэзию. Хороша и благородна ли эта страсть и эта поэзия, это другой вопрос. Один из таких игроков говаривал, что, после удовольствия выигрывать, нет большего удовольствия как проигрывать.

Но мы здесь говорим о мирной, так называемой коммерческой игре, о карточном времяпровождении, свойственном у нас всем возрастам, всем званиям и обоим полам. Одна русская барышня говорила в Венеции: «Конечно, климат здесь хорош; но жаль, что не с кем сразиться в преферанс». Другой наш соотечественник, который провел зиму в Париже, отвечал на вопрос, как доволен он Парижем: «Очень доволен, у нас каждый вечер была своя партия».

Карточная игра в России есть часто оселок и мерило нравственного достоинства человека. «Он приятный игрок» – такая похвала достаточна, чтобы благоприятно утвердить человека в обществе. Примеры упадка умственных сил человека от болезни, от лет не всегда у нас замечаются в разговоре или на различных поприщах человеческой деятельности; но

начни игрок забывать козыри, и он скоро возбуждает опасение своих близких и сострадание общества. Карточная игра имеет у нас свой род остроумия и веселости, свой юмор с различными поговорками и прибаутками. Можно бы написать любопытную книгу под заглавием: физиология колоды карт.

Впрочем, значительное потребление карт имеет у нас и свою хорошую, и нравственную сторону: на деньги, вырученные от продажи карт, основаны у нас многие благотворительные и воспитательные заведения.

* * *

После несчастных событий 14 декабря разнеслись и по Москве слухи и страхи возмущения. Назначили даже ему и срок, а именно день, в который вступит в Москву печальная процессия с телом покойного императора Александра I. Многие принимали меры, чтобы оградить дома свои от нападения черни; многие хозяева домов просили знакомых им военных начальников назначить у них на этот день постоем несколько солдат.

В это время какая-то старуха шла по улице и несла в руке что-то съестное. Откуда ни возьмись мальчик, пробежал мимо нее и вырвал припасы из рук ее. «Ах ты бездельник, ах ты головорез, – кричит ему старуха вслед. – Еще тело не привезено, а ты уже начинаешь бунтовать».

* * *

Дмитриев съехался где-то на станции с бариним, которого провожал жандармский офицер. Улучив свободную минуту, Дмитриев спросил его, за что ссылается проезжий?

– В точности не могу доложить вашему высокопревосходительству, но, кажется, худо отзывался насчет холеры.

* * *

По какому-то ведомству высшее начальство представляло несколько раз одного из своих чиновников то к повышению чином, то к денежной награде, то к кресту, и каждый раз император Александр I вымарывал его из списка.

Чиновник не занимал особенно значительного места, и ни по каким данным он не мог быть особенно известен государю. Удивленный начальник не мог решить свое недоумение и наконец осмелился спросить у государя о причине неблаговоления его к этому чиновнику.

«Он пьяница», – отвечал государь. «Помилуйте, ваше величество, я вижу его ежедневно, а иногда и по несколько раз в течение дня; смею удостоверить, что он совершенно трезвого и добронравного поведения и очень усерден к службе; позвольте спросить, что могло дать вам о нем такое неблагоприятное и, смею сказать, несправедливое понятие?» – «А вот что, – сказал государь. – Одним летом, в прогулках своих я почти всякий день проходил мимо дома, в котором у открытого окошка был в клетке попугай. Он беспрестанно кричал: «Пришел Гаврюшкин – подайте водки».

Разумеется, государь кончил тем, что дал более веры начальнику, чем попугаю, и что опала с несчастного чиновника была снята. (Слышано от Петра Степановича Молчанова; но, может быть, фамилия чиновника немножко искажена.)

* * *

У многих любовь к отечеству заключается в ненависти ко всему иноземному. У этих людей и набожность, и религиозность, и православие заключаются в одной бессознательной и бесцельной ненависти ко власти папы.

* * *

Иной и не прямо лжет, и лжецом слыть не может, но мастерски умеет обходить правду. Некоторого рода обходы иногда нужны для вернейшего достижения цели; но опасно слишком вдаваться в эти обходы: кончишь тем, что запутаешься в проселках и на прямую дорогу никогда не выйдешь.

Один барин не имел денег, а очень хотелось ему деньги иметь. Говорят, голь на выдумки хитра. Наш барин запасся двумя или тремя подорожными для разъезда по дальним губерниям и на этих подорожных основывал он свои денежные надежды. Приедет он в селение, по виду довольно богатое, отдаленное от большого тракта и, вероятно, не имевшее никакого понятия о почтовой гоньбе и о подорожных; пойдет к старосте, объявит, что он чиновник, присланный от правительства, велит священнику отпереть церковь и созвать мирскую сходку. Когда все соберутся, он начнет важно и громко читать подорожную: «По указу его императорского величества», – при этих словах он совершит крестное знамение, а за ним крестится и весь народ. Когда же дойдет до слов: *выдавать ему столько-то почтовых лошадей за указные прогоны, а где оных нет, то брать из обывательских*, – тут скажет он, что у него именно оных-то и нет, т. е. прогонов, т. е. денег, а потому и требовал от обывателей такую-то сумму, которую назначал он по усмотрению своему. Получив такую подать, отправляется он далее в другое селение, где повторяет ту же проделку.

* * *

Когда побываешь в Англии, то убедишься, что в нравах, обычаях и условиях английского общества и общежития есть довольно много *гнилых посадов*, буквальный перевод Rotten Boroughs, что, впрочем, и у французов переводится bourg pourri³.

Легкомысленно было бы признавать за несомненное следствие образованности все, что здесь видишь. Напротив, много ускользнуло от образованности и осталось в первобытной своей неуклюжести и дикости: потому что англичане упрямы, самолюбивы и сознательно, и умышленно односторонни. Они преимущественно консерваторы в домашнем быту и во внутренней политике. Позволяют они себе ломать и очень смелы в ломках своих только во внешней политике.

Французский писатель Сюар где-то рассказывает, что на Гебридских островах присутствие иностранного путешественника заражает воздух и дает кашель всем обывателям. Нет сомнения, что и присутствие иностранца в английском обществе, пока он себя не совершенно *выанглизирует*, должно производить в англичанах раздражение, как присутствие разнородной и даже противородной стихии. Кашель не кашель, а должно кожу их морозом подирать: так все привычки жизни и весь день их тесно вложены в законную и тесную мерку и рамку. Оттого в английской жизни нет ничего нечаянного (*imprevu*), скоропостиж-

³ Гнилым посадом до избирательной реформы в Англии называлась местность, которая пользовалась старыми избирательными привилегиями, хотя народонаселение этой местности и значительно убавилось: таким образом ограниченное число обывателей, поддаваясь влиянию или подкупу, располагало назначением члена в нижнюю палату.

ного. Оттого общий результат должен быть скука. Недаром сказано: *l'ennui naquit unjour de l'uniformite*⁴.

Нечего и говорить, что некоторых слов и выражений нет ни в английском языке, ни в английских понятиях. Например, *как-нибудь, покуда, по-домашнему, по-дорожному, запросто* и т. п. В Англии все вылиты в одну форму или в известные формы. Англичанин в известные часы входит в эти формы, которые переносит с собой, или, лучше сказать, благодаря общему благоустройству в Англии, находит готовыми из одного края Англии до другого: дома, в Лондоне, у себя в деревне, в гостях, на больших дорогах, в гостиницах.

Между Парижем и провинцией лежат столетия. В некоторых отношениях вся Англия есть продолжение Лондона. Англичане никогда не скажут: «Что же нам теперь делать? За что приняться?» Давным-давно уже внесено в общее уложение, что делать в такой-то час и в такое-то время года.

«Прошу вас, не беспокойтесь» – для меня континентальное выражение, которое иностранцу не придется и не придет на ум сказать англичанину: ибо англичанин ни для кого не беспокоится и не женируется; а если он что и сделает похожее на учтивость, на уступчивость и общежитейское жертвоприношение, но вовсе не для вас, а для себя, как исполнение обязанности, и потому, что так заведено и так быть должно. Ваша личность перед ним всегда в стороне, и если вздумается вам ее выставить, то англичанин вытаращит глаза на вас и вас не поймет.

Англичанина никак не собьешь с родной почвы, как ни перенеси его на чужую, в Париж, Рим, Петербург. Француз податливее и сговорчивее. Русский, с легкой руки Петра I, легко поддается чужим обычаям, где бы он ни был. Англичанин везде одевается, завтракает, ходит и мыслит по-английски. Это почтенно, но вчуже досадно и обидно. Смотря на англичанина, особенно в Англии, чувствуешь его нравственное достоинство и силу. И этим, хотя и с грустью пополам, объясняешь себе превосходство и тяжеловесность английской политики в делах Европы и всего мира.

Английский деспотизм обычаев превосходит всякое понятие. В оперную залу не впустят иностранца, если у него серая шляпа в руках. Если едешь в омнибусе и поклонись знакомому на улице, он примет это за неприличие и за обиду. За обедом есть не как едят другие, ставить рюмку не на ту сторону где должно, резать, а не ломать свой ломоть хлеба: все это может погубить человека в общественном мнении; и как ни будь он умен и любезен, а прослывет дикарем.

Что за прелесть английская езда! Катишься по дороге, как по бархату, не зацепишься за камушек. Колес и не слышать. Дорожную четырехместную карету, в которой покойно сидят шесть человек, везет пара лошадей, но зато каких! Около 35 верст проезжаешь в два часа с половиной. У нас ездят скорее, но часто позднее доезжаешь до места. Здесь минута в минуту приезжаешь в известный час. Здесь на деле сбывается пословица: тише едешь, дальше будешь. К тому же нет мучительства для лошадей. Не слышать кучерского ругательства и голоса. Бичом своим он лошадей не погоняет, лошади пользуются также личными и гражданскими правами. Огромная машина словно катится сама собою.

Из Брайтона ездили мы в близкий городок Левис. После моря и голых Брайтонских берегов глаза отдыхают на зелени пригорков, деревьев и лугов, окружающих Левис. В Англии зелень имеет особую свежесть и прелесть. Мы попали на скотский рынок или ярмарку. Коровы, бараны, свиньи и мясники все были налицо в движении. Английский скот имеет также свое особенное дородство и достоинство.

Во время нашего *luncheon* (завтрака) в гостинице подъезжает к крыльцу четвероместная карета, очень красивая, пара хороших лошадей, кучер одет порядочно. Вылезают четыре

⁴ Скука некогда родилась от единообразия.

человека также весьма пристойной наружности по виду и по одежде. Кто это? Джентльмены ли они, или поселяне, т. е., по-нашему, мужики? Зашел о том спор между нами. На поверку вышло мужики, но мужики вольные хлебопашцы, т. е. *фермеры*. Выпив по стакану портера, отправились они на свой скотский базар. Эти господа могли нам дать мерку и образчик всего того, чем Англия отличается от других государств.

Когда и видишь солнце в Англии, то не иначе, как сквозь туман и дым: словно парная и испаряющаяся репа.

* * *

Извлечение в переводе из неизданных на французском языке собственноручных записок польского короля Станислава Понятовского.

1) *Мой портрет*⁵

Вот что автор говорит в начале: «Писал я его в 1756 году, перечитал в 1760 году. Тогда прибавил я к нему несколько слов, записанных под этим числом. В продолжении моих записок укажу откровенно читателю моему на те изменения, которые годы и обстоятельства внесли в мой портрет, по крайней мере настолько, насколько дано человеку познавать себя».

Начитавшись много портретов, я захотел написать и свой. Был бы я доволен наружностью своей, если был бы ростом несколько повыше, если бы нога моя (*la jambe*) была стройнее, нос менее орлиный, зрение не столь близорукое, зубы более на виду. Нимало не думаю, что и при исправлении этих недостатков вышел бы я красавцем; но не желал бы быть пригожее, потому что признаю в физиономии своей благородство и выразительность; полагаю, что в осанке, движениях (*jestes*) моих есть что-то изящное и отличительное, которое может везде обратить внимание на меня. Моя близорукость дает мне однако же и не редко вид несколько смущенный и мрачный (*imbarasse et sombre*), но это не надолго. После минутного ощущения неловкости (должен сознаться и в погрешности) часто в осанке (*contenance*) моей обнаруживается излишняя гордость.

Отличное воспитание, полученное мной, много содействовало мне к прикрытию недостатков моих, как внешних, так и ума моего. Оно помогло мне извлечь возможную пользу из моих способностей и выказать их несоразмерно с их истинным достоинством! Достаточно имею ума, чтобы быть в уровень с каждым предметом разговора; но ум мой не довольно плодovit, чтобы надолго овладеть разговором и направить его, разве речь зайдет о таком предмете, в котором могут принять участие чувство и живой вкус, которым одарила меня природа ко всему, что относится до художеств. Скоро подмечаю и схватываю все смешное (*le ridicule*) и ложное и все людские странности и кривизны (*travers*). Часто давал я людям это чувствовать слишком скоро и резко. По врожденному отвращению, ненавижу дурное общество.

Большая доля лени не дала мне возможности развить, сколько бы следовало, мои дарования и познания. Принимаюсь ли за работу, то не иначе как по вдохновению; делаю много за один раз и вдруг, или же ничего не делаю. Я не легко выказываюсь и высказываюсь (*je ne me compromets pas aisement*), и вследствие того кажусь я искуснее, нежели бываю на самом деле. Что же касается до управления делами (*la conduite des affaires*), то прилагаю к ним обыкновенно слишком много поспешности и откровенности, а потому нередко впадаю в промахи (*des pas de clerc*). Я мог бы хорошо судить о деле, заметить ошибку в проекте или недостаток

⁵ В прошлом веке, а особенно во Франции, такие портреты были в большой моде и служили светской забавою в высшем и литературном обществе.

в том, кто должен привести этот проект в исполнение; но мне к тому нужны еще и совет постороннего, и уда, чтобы самому не впасть в ошибку.

Я чрезмерно чувствителен, но живее чувствую скорбь, нежели радость. Горе слишком сильно овладевало бы мною, если бы в глубине сердца не таилось предчувствие великого счастья в будущем. Рожденный с пламенным и обширным честолюбием, питаю в себе мысли о преобразованиях, о пользе и славе отечества моего: эти мысли сделались как бы канвою всех действий моих и всей жизни моей.

Я не считал себя пригодным к женскому обществу. Первые опыты сближения моего с женщинами казались мне случайными и условными. Наконец познал я нежность любви: люблю так страстно, что малейшая неудача в любви моей сделала бы из меня несчастнейшего человека в мире и повергла бы меня в совершенное уныние.

Обязанности дружбы для меня священны: простираю их далеко. Если мой друг провинится предо мной, то готов я сделать все возможное, чтобы отвратить разрыв между нами; долго после оскорбления, им мне нанесенного, помню только то, чем был я ему некогда обязан. Я признаю себя добрым и верным другом. Правда, дружен я не со многими, но всегда безгранично благодарен за всякое добро мне оказанное. Хотя очень скоро подмечаю недостатки ближнего, но очень охотно прощаю их, вследствие рассуждения, к которому часто прибегал, а именно: как ни почитай себя добродетельным, но если беспристрастно всмотришься в себя, то отыщешь в себе тайные соотношения (*affinites*), весьма унижительные с величайшими преступлениями, которым недостает только случая и сильного давления, чтобы распусться. Беда, если не будешь строго сторожить за собой.

Люблю давать, ненавижу скряжничество, но зато не очень умею распоряжаться тем, что имею. Не так крепко храню тайны свои, как тайны чужие, на которые я очень соvestлив. Я очень сострадательн. Мне так приятно видеть себя любимым и одобряемым, что самолюбие мое возросло бы до крайности, если бы опасение казаться смешным (*la crainte du ridicule*) и навык светских приличий не научили бы меня умению обуздывать себя в этом отношении. Впрочем, я не лгу, столько же по нравственным правилам, сколько и по врожденному отвращению ко всякому лицемерию.

Не могу сказать о себе, что я набожен, по общему значению этого слова, и далек я от того; но смею сказать, что люблю Бога и часто молитвою обращаюсь к Нему. Я не чужд утешительного убеждения, что Он оказывает нам милость Свою, когда мы о том просим его. Мне еще даровано счастье любить родителей моих, как по склонности, так и по обязанности. Хотя, под первым движением досады, мысль об отмщении и могла бы придти мне в голову, но полагаю, что не мог бы я осуществить ее на деле: жалость взяла бы верх. Случается, что прощаешь по слабости так же часто, как и по великодушию. Опасаюсь, что по этой причине многим из моих предположений на будущее время не дано будет обратиться в действительность. Охотно размышляю и достаточно наделен воображением, чтобы не скучать наедине и без книги, особенно с тех пор, что я люблю. (1756 год.)

Должен я ныне прибавить, что могу долго и постоянно желать одного и того же (*les memes choses*). Наблюдая за собой, пришел я к заключению, что, находясь уже три года среди людей отвратительных и гнусных (*detestables*), которые навлекли на меня ужасные страдания, я сделался менее способным ненавидеть (*moins haineux*). Не знаю, истощился ли мой запас ненависти, или кажется мне, что видал я и хуже этого. Если буду когда-нибудь счастлив, то желал бы я, чтобы все были счастливы, и никому не было бы повода сожалеть о счастье моем». (1760 год.)

История может, конечно, отказать несчастному Понятовскому в государственных качествах, которыми должен обладать правитель народа; но, прочитав сей портрет, который нельзя заподозрить в несходстве и в недостатке чистосердечия, нельзя, забывая венценосца,

не сочувствовать человеку. Да и все современные свидетельства соглашались в похвальном и лестном отзыве о нем. Сочувствуя, нельзя и не пожалеть об игралитце и жертве каких-то обольстительных и счастливых обстоятельств, которые, почти мимо воли его, вознесли его на блестящую вершину, а потом низринули в смутные столкновения, заперли в безысходную засаду и устремили к окончательному падению.

Впрочем, и при большей твердости духа, и при лучшем умении вести державные дела, едва ли мог бы Понятовский или кто другой усидеть на шатком польском престоле. Исторические, географические и соседственные сервитюды и давление влекли роковой силой Польшу к неминуемой гибели и, так сказать, политическому самоубийству. Можно сказать, что внешние тяготения ослабили и *ампутировали* Польшу; но и Польша сама собою деятельно работала в смысле окончательного разложения своего.

Мы упомянули о географических условиях Польши, заимствуя мысль у князя Паскевича. Его спрашивали, почему поляки всегда раболепствуют или бунтуют. «Такова уже их география», – отвечал наместник.

Пойдем далее в выписках своих.

2) *Поручение, данное Ностицу в Варшаве.*

Сделанное мне предложение.

Вскоре по кончине Августа III, курфюрст, старший сын его, сделал в Польше попытки, чтобы наследовать ему. Супруга его частным образом действовала под рукой в этом же смысле. Камергер Ностиц прислан был в Варшаву с этой целью. Саксонский двор вздумал, между прочим, предложить мне денежную сумму и много других обещаний, с тем чтобы я отказался от подобного соискательства. Советник Шмидт, на которого возложены были эти переговоры, сам смеялся, все это мне передавая и угадывая заранее мой ответ. Но все эти саксонские проекты уничтожены были оспой, от которой курфюрст умер, и никто не хотел заменить его одним из братьев.

3) *Важное предложение, сделанное мне Кейзерлингом*

Около половины 1764 года, когда затруднительности к моему избранию на престол, по-видимому, более и более скоплялись, посол Кейзерлинг, который всегда оказывал мне самую приятную доверенность, спросил меня однажды: «Что скажете вы о мысли, которая пришла мне в голову и о которой желал бы я знать мнение ваше, а именно: нельзя ли было бы, вместо вас, призвать к престолу дядю вашего, русского палатина, князя Чарторыского? Скажите мне искренно: что было бы полезнее для Польши? Вы дадите мне на это ответ через три дня».

В этот промежуток времени тысяча различных мыслей выказали мне вопрос сей со всех сторон. Главнейшая мысль, более всех меня озаботившая, была та, что рано или поздно императрица может обвенчаться со мной, если буду я королем; а если королем не буду, то и браку этому никогда не бывать. С другой стороны, три человека, которых я тогда наиболее любил, были: старший брат мой, Ржевуский (в то время писарж, а после маршал) и Браницкий, с которым дружественно сблизился я в России. Нужно сказать, что дядя мой палатин явил этим трем лицам чувствительные доказательства недоброжелательства своего. Наконец, знал я деспотический и неукротимый нрав моего дяди. Все это, по истечении трех дней, побудило меня сказать: «Какой ни имел бы я повод полагать, что дядя лично дружески расположен ко мне, но не могу не сознаться, что, по мнению моему, царствование дяди моего было бы крутым и жестким, и по этой причине думаю, что для блага народа лучше было бы мне быть королем, а не ему».

Как скоро Кейзерлинг выслушал мой ответ, он воскликнул с живостью: «Боже упаси нас от жестокосердного царствования, – и прибавил, – чтобы не было впредь и в помине о том».

Это обстоятельство, столь важное в жизни моей, более всего утвердило меня в убеждении, что из всех человеческих заблуждений менее всех прощительное есть гордость. Тот, кто хвалится тем, что он в таком или другом случае хорошо сказал или хорошо действовал, не принимает в соображение, что человек не в силах дать себе мысль, что все мысли – и преимущественно те, которые впоследствии наиболее обольщают нас одержанным успехом, – исходят от Того, Кому благоугодно было нам их ниспослать.

Только спустя восемь лет после этого ответа представился уму моему тот, который надлежало бы мне сделать, а именно: «Не хочу быть королем без уверенности, что буду супругом императрицы. Если будет мне в том отказано, то прошу одного удостоверения в благорасположении будущего короля к трем друзьям моим; я же останусь частным лицом. Корона без императрицы не имеет для меня никакой прелести». Таким образом все примирил бы я. В первом случае, до какой степени блеска и благоденствия возвысилась бы Польша! В другом случае снискал бы я себе новое право на уважение и признательность императрицы. Вместе с тем обеспечил бы я фортуна трех друзей моих, а равно мог бы я быть уверенным в особой ко мне милости дяди моего и во всех возможных выгодах и приятностях, коими пользоваться может частный человек. Я отвратил бы от себя все скорби и от отечества моего все бедствия, на которые будет указано в продолжении сих Записок.

А первоначальная причина всех этих неблагоприятных последствий заключается в том, что дядя мой никогда простить не мог, что не он, а я сделался королем. Я уверен, что доходило до сведения его (если не сам он внушил его) предложение, сделанное мне Кейзерлингом. Сужу о том потому, что, спустя несколько месяцев, когда речь зашла о противодействиях, даже до пролития крови, которые может встретить избрание мое на престол, и я отвечал, что скорее откажусь от короны, нежели потерплю, чтобы избрание мое стоило единой капли польской крови, то княгиня Стражница (Straznik?), впоследствии маршалша, горячо сказала немногие следующие слова: «Да ведь зависело только от...» (mais il n'a dependu que...), и тут в смущении прервала речь свою и обратила разговор на другие предметы.

Почти то же повторилось, хотя и не в таких размерах, при назначении императором Александром в наместники Зайончека, тогда же пожалованного в княжеское достоинство. Это назначение было для всех совершенно неожиданное и всех удивило. Второй князь Адам Чарторыский и вся Пулавская⁶ партия желали и полагали, что выбор императора падет на него. Зайончек был храбрый генерал (как почти и все поляки храбры на войне), лишился ноги в сражении, ходил на костылях, был человек честный, но вовсе не был на виду и не имел тех блестящих качеств, которые вызывают на честолюбие. Он не имел ни партии, ни клеветов, ни трубачей за себя; мало имел даже и связей в варшавском аристократическом обществе. По старости лет своих не имел и поклонниц и усердных ходатайниц в прекрасном поле (а в Польше непременно нужно иметь свою партию и свой вспомогательный летучий женский отряд). По всему этому император именно и обратил внимание свое на него. Однажды в Варшаве призывает он генерала Зайончека в свой кабинет и спрашивает мнения его, кого бы назначить наместником царства. Выслушав его, государь говорит ему: «А мой выбор уже сделан: я вас назначаю». Старик, никогда о том и не мечтавший, не менее публики удивлен был, когда, вошедши в царский кабинет рядовым генералом, вышел он из него царским наместником. Разумеется, не одно это назначение посеяло в обществе семена раздора и оппозиции; но, по всем соображениям, оно не мало могло тому и содействовать. Впрочем,

⁶ Пулавы – великолепное, недалеко от Варшавы, поместье Чарторыских, посещаемое путешественниками и воспетое поэтами.

для соблюдения истины должно прибавить, что, по общему мнению, сильно разыгралось тут не столько обманутое честолюбие князя Чарторьского, сколько деятельное и суетливое честолюбие семейства его.

4) *Отрывок из письма императрицы 2 августа 1762 г.*

«Согласно с желанием его, отправляю графа Кейзерлинга послом в Польшу, чтобы сделать вас королем (pour vous faire roi). А если он в том не успеет, то пусть будет избран князь Адам» (Чарторьский).

Зимой 1763 – 1764 годов писал я императрице: «Не делайте меня королем, а снова призовите к себе». Не одни сердечные чувства побуждали меня выразить эту просьбу. Я был убежден, что могу принести в таком случае более пользы отечеству моему как частное лицо при ней, нежели здесь как король. Но просьбы мои не получили удовлетворения.

5) *Анекдот, касающийся до избрания моего*

За несколько недель до дня, назначенного для моего избрания, в императрице возникло сильное опасение, что избрание мое может вовлечь ее в большие затруднения и даже в войну с Портою. Вопреки Панину, писала она к Кейзерлингу, что, опасаясь многих неудобств за Россию и за себя от слишком упорного настаивания на избрание мое в короли, она повелевает ему не доходить до формального предствательства за меня (de ne pas risquer une recommandation formelle), но ограничиться действием, которое он почтет влекущим за собой наименее худых последствий (les consequences les moins facheuses).

Панин осмелился написать Кейзерлингу: «Не знаю, что пишет вам императрица; но после всего что мы доньше сделали, честь императрицы и государства нашего так связана с этим вопросом, что, отступая от него, мы много повредили бы себе. Итак, продолжайте как следует, чтобы довершить это дело. Смело вам это высказываю» (C'est moi qui vous le dis hardiment).

И Кейзерлинг не побоялся послушаться своей государыни и последовать совету ее первого министра. Он изложил формальный акт предствательства за меня от имени императрицы. А как был он в то время болен и не мог лично представить его примасу (как то обыкновенно делалось в прежних избраниях), то и представил бумагу свою через посольского секретаря, барона Аша.

Избрание мое совершилось единогласно и в таком порядке и мире, что большое число дам присутствовало на избирательном поле, посреди дворянских эскадронов. Только и был при этом один несчастный случай: лошадь лягнула в господина Трояновского и раздробила ему ногу. Многие дамы сливали голоса свои за избирательными кликами воеводств, когда примас на колеснице своей проезжал и собирал от маршалов воеводских конфедераций избирательные записки за скрепою тех, которые состояли налицо. По общему мнению, около 25 тысяч человек окружало избирательное поле, и в этом числе ни один голос не восстал против меня.

Что ни говори, а если смотреть беспристрастно, то в этой отрывочной исповеди не обрисовывается пошлый и своекорыстный честолюбец. Тут честолюбие есть, но оно очищено и облагорожено более возвышенными побуждениями; оно питается двойной любовью. В исповеднике видим хотя и грешника, но честного человека; видим здравый ум, который хорошо и верно судит о настоящем положении и также верно предвидит опасения в будущем. Он раскаивается в том, что увлекся, что не следовал видам, которые сам исчислил и оценил; но раскаивается поздно. Впрочем, когда же в делах житейских раскаяние не бывает поздней добродетелью?

Вместе с тем виден здесь и поляк-мечтатель. Польская политика всегда сбивается на фантазию. Романтической литературы еще и в помине не было, а благодаря полякам была уже романтическая политика, пренебрегающая единствами времени, места и действия. У них нет классического воззрения на вещи и события. Все перед ними освещается фальшфейерами, которые принимают они за маяки.

В своей романтической мечтательности, в своей *галлюцинации* Понятовский строит свой воздушный замок, свой воздушный престол на несбыточном браке с императрицей. Его не пугает, не отрезвляет вся несообразность подобной надежды; его не пробуждает от сновидения вся историческая, политическая и русско-народная невозможность такого события. Для романтической политики нет ни граней, ни законов: для нее нет никаких невозможностей. В покушениях своих, в политических стремлениях поляки не признают роковой силы слова *невозможность*.

Не видали ли мы много примеров тому и после Понятовского? Кому из поляков не грезило хотя раз в жизни, что Европа почтет для себя обязанностью и удовольствием предложить ему руку и сердце свое и принести в приданое все силы и войска свои? И легковерный и несчастный поляк, рассчитывая на это будущее, губит свое настоящее. Он пускается во вся тяжкая, ставит ребром свой последний *злотый*, свои последние усилия и надежды и окончательно разоряется впредь до нового самообольщения, до нового марева и новых жертвоприношений неисправимой мечте своей. Разумеется, государственной политике должно, при таких периодических увлечениях и припадках, быть всегда настороже. Это периодико-хроническое расположение угрожает спокойствию и безопасности соседей. Все это так; но сердиться на поляков не за что, а ненавидеть мечтателей и подавно. Вспомним слово князя Паскевича: вся их романтическая политика грешит роковыми условиями непреложной географии.

Странная и какая-то таинственно-роковая игра запечатлела судьбу Понятовского. Будущее царствование его случайно возродилось в Петербурге: в Петербурге же и погасло это посмертное царствование. По движению великодушия и рыцарства императора Павла, развенчанный венценосец был призван в Петербург. Царской тени его воздаемы были почести, подобающие неизгладимому величию царского достоинства. Он жил в Мраморном дворце, окруженный придворным штатом. На всех праздниках, во всех торжествах император Павел уделял ему царское место. Он постоянно был к нему внимателен и приветлив, с той врожденной и утонченной вежливостью, которая отличала императора Павла, когда он к кому благоволил и не был под раздражением неприятных впечатлений. Одним словом. Понятовский жил и умер в Петербурге польским королем, но только без польского королевства. Впрочем, едва ли в Варшаве владел он этим королевством.

Как много драматических движений и неожиданностей в этой участи; как много глубокого исторического и нравственного смысла! Здесь история в романе, и роман в истории.

* * *

«Какое несчастье пошло у нас на баснописцев, – говорил граф Сакен. – Давно ли мы лишились Крылова, а вот теперь умирает Данилевский!» (сочинитель военной истории 12-го и последовавших годов).

* * *

Известно, что император Александр Павлович в последние годы царствования своего совершал частые и повсеместные поездки по обширным протяжениям России. В это время дорожная деятельность и повинность доходили до крайности. Ежегодно и по несколько раз

в год делали дороги, переделывали их и все-таки не доделывали, разве под проезд государя; а там опять начнется землекопание, ломка, прорытие канав и прочее. Эти работы, на которые сгонялись деревенские населения, возрастали до степени народного бедствия.

Разумеется, к этой тягости присоединялись и злоупотребления земской администрации, которая пользовалась, промышленяла и торговала дорожными повинностями. Народ кряхтел, жаловался и приписывал все невзгоды Аракчееву, который тут ни душой, ни телом не был виноват. Но в этом отношении Аракчеев пользовался большой *популярностью*: он был всеобщим козлом отпущения на каждый черный день. В Саратовской губернии деревенские бабы певали в хороводах:

Аракчеев дворянин
Аракчеев.....,
Всю Россию разорил,
Все дорожки перерыл.

В Московской губернии, в осеннюю и дождливую пору, дороги были совершенно недоступны. Подмосковные помещики за 20 и 30 верст отправлялись в Москву верхом. Так ездил князь Петр Михайлович Волконский из Суханова; так ездили и другие. Так однажды въехал в Москву и фельдмаршал Сакен. Утомленный, избитый толчками, он на последней станции приказал отпрячь лошадь из-под фореитора, сел на нее и пустился в путь. Когда явились к нему московские власти с изъявлением почтения, он обратился к губернатору и спросил его, был ли он уже губернатором в 1812 году; и на ответ, что не был, граф Сакен сказал: «А жаль, что не были! При вас Наполеон никак не мог бы добраться до Москвы».

* * *

Карамзин говорил, что если бы отвечать одним словом на вопрос: что делается в России, то пришлось бы сказать: *крадут*. Он был непримиримый враг русского лихоимства, расточительности, как частной, так и казенной. Сам был он не скуп, а бережлив; советовал бережливость друзьям и родственникам своим; желал бы иметь возможность советоваться ее и государству.

Ничего так не боялся он, как долгов, за себя и за казну. Если никогда не бывал он что называется в нужде, то всегда должен был ограничиваться строгой умеренностью, впрочем (как сказано выше), чуждою скупости: напротив, он всегда держался правила, что если уж нужно сделать покупку, то должно смотреть не на цену, а на качество, и покупать что есть лучшее.

В первые времена письменной деятельности его, да и позднее, литература наша не была выгодным промыслом. Цены на заработки стояли самые низкие. Журналы, сборники, им издаваемые (*Аониды* и пр.), не представляли ему большого барыша и едва давали возможность сводить концы с концами. В молодости, в течение двух-трех лет, прибегал он, как к пособию, к карточной коммерческой игре. Играл он умеренно, но с расчетом и с умением. Можно сказать, что до самой кончины своей он не жил на счет казны. Скромная пенсия в 2000 рублей ассигнациями, выдаваемая историографу, не была для казны обременительна.

Впоследствии времени близкие отношения к императору Александру, милостивое, дружеское внимание, оказываемое ему монархом, не изменили этого скромного положения. В сношениях своих с государем он дорожил своей нравственной независимостью, так сказать, боялся утратить и затронуть чистоту своей бескорыстной преданности и признательности. Он страшился благодарности вещественной и обязательной.

Можно подумать, что и государь, с обычной ему мечтательностью, не хотел придать сношениям своим с Карамзиным характер официальный, характер относительности государя к подданному. Впрочем, приближенные к императору Александру замечали не раз, что он не имел ясного понятия о ценности денег: иногда вспоможение миллионом рублей частному лицу не казалось ему чрезвычайным; в другое время он задумывался над выдачей суммы незначительной.

Карамзин за себя не просил: другие также не просили за него, и государь, хотя и довольно частый свидетель скромного домашнего быта его, мог и не догадываться, что Карамзин не пользуется даже и посредственным довольством.

Как уже сказано, Карамзин заботился не о себе. Но в меланхолическом настроении духа, к которому склонен он был даже и в дни относительного счастья, не мог он внутренне не думать с грустью о том, что не успел он обеспечить материально участь довольно многочисленного и нежно и горячо любимого им семейства. Провидение, в которое он покорно и безгранично веровал, оправдало эту веру и между тем поберегло бескорыстие и добросовестность его. Пока бодрствовал он духом и телом, обстоятельства не искушали его и не приводили в опасение быть в противоречии с самим собой.

Только на смертном одре и за несколько часов до кончины получил он поистине царскую награду, возмездие за чистую и доблестную жизнь, за долгую и полезную деятельность и за заслуги его перед Отечеством. Это была, так сказать, заживо, но уже посмертная награда. Оказал ее не император Александр, а в память его достойный и великодушный преемник его. Глубоко, умилительно растроганный подобной милостью, Карамзин оставался верен правилам и убеждениям своим: он находил, что милость чрезмерна и превышает заслуги его. Последние строки, написанные его ослабевшей и уже остывающей рукой, рукой, которая некогда так деятельно и бодро служила ему, были выражением глубокой благодарности тому, который прояснил предсмертные часы его. Он умирал спокойно, зная, что участь детей его обеспечена.

* * *

Как по проезжим дорогам, так и в свете, на поприще почестей и успехов, человек, едущий с богатой внутренней кладью, часто обгоняем теми, которые едут порожними. Это напоминает четверостишие, найденное в какой-то тетради:

С ним звездословию не трудно научиться,
Честей им крайняя достигнута межа:
До этих почестей как мог он дослужиться?
– А очень просто: не служа.

* * *

В этой же тетради записаны довольно забавные стихи Марина:

Не Дмитрий ты Донской,
Не Дмитрий ты Ростовский,
А Дмитрий ты простой:
Ты Дмитрий Павлиновской.

Марин был в свое время гвардейским поэтом и остроловом. Приятное и не слишком взыскательное время! Тогда жилось легко и в свое удовольствие. Ум без притязаний на гениальность был в чести и везде гостеприимно встречен. Марин не отличался стихотворческим дарованием: оно не выходило из пределов гвардейского и светского объема. В особенном ходу были пародии его на стихи Ломоносова: «С белыми Борей власами».

Замечательно и странно, что при такой склонности к легким стихам он принадлежал не к новой школе, а к староязыческой школе Шишкова. Он был большой поклонник Хераскова и знал наизусть целые страницы *Россиады*.

Французский язык был ему мало знаком, если и не вовсе, что, впрочем, не помешало ему перевести трагедию Вольтера *Меропу*. Перевел он ее довольно плохо с подстрочного русского перевода, довольно плохой прозой. Красота, слава и талант Семеновой, трагической актрисы, увлекали в то время многих на трагическое поприще. Эта была своего рода поэзия бенефисов.

Гнедич, с дарованием, разумеется, неизмеримо выше дарования Марина, но также не сильный в знании французского языка, перевел также около того времени, и тоже ради прекрасных глаз Семеновой, другую трагедию Вольтера, *Танкред*.

Пушкин имел всегда на очереди какой-нибудь стих, который любил он твердить. В года молодости его и сердечных припадков было время, когда он часто повторял стих из этого перевода:

Быть может, некогда восплачешь обо мне!

* * *

Странные бывают люди! Есть, например, такие, которые на том основании, что они переносятся из места в далекое место по железным дорогам, а Лейбниц и Вольтер медленно тащились по выбоинам и рытвинам в неуклюжих почтовых рыдванах, твердо убеждены, что они выше и умнее Лейбница и Вольтера.

При каждом удобном, а часто и неудобном случае они на лету и с высоты вагона своего смеются над этими жалкими недорослями, выражают презрение к минувшему времени, рисуются и любят себя в настоящем. Как бы растолковать этим господам, что хотя век наш материально и обогатился многими изобретениями и вспомогательными средствами, но все же не дошел еще до того, что выдумал паровой аппарат, который придавал бы ума тем, которые ума не имеют.

Терпение! Пускай обождут они немного; может быть, такой аппарат и осуществится, и тогда разрешается им смеяться над Лейбницем и Вольтером.

* * *

А. М. Пушкин спрашивал путешествующего англичанина: правда ли, что изобрели в Англии машину, в которую вводят живого быка, и полтора часа спустя подают из машины выделанные кожи, готовые бифштексы, гребенки, сапоги и проч. «Не слыхал, – простодушно отвечает англичанин. – При мне еще не было; вот уже два года, что я разъезжаю по твердой земле: может быть, эта машина изобретена без меня».

* * *

Приятель князя Дашкова выражал ему удивление, что он ухаживает за госпожой ***, которая не хороша собой, да и не молода. «Все это так, – отвечал князь, – но если бы ты знал, как она благодарна!»

* * *

Княгиня Ц. говорила, что она не желала бы овдоветь, а желала бы родиться вдовой.

* * *

N.N. говорит: «Жаль, что нет третьего пола для третейского и мирового суда в тяжбе между мужским и женским полом; а то судят и решат между собою дело сами подсудимые».

* * *

В одном из сражений 1813 г. Бернадот поручал старому генералу (немцу или шведу, не помнится) занять одно возвышение. Тот худо понимал, что Бернадот говорил ему на французском языке; а Бернадот не понимал расспросов генерала. Выведенный из терпения, обратился он к князю Василию Гагарину, состоявшему при нем ординарцем, и сказал своим гасконским выговором: *Ayez la complaisance, prince, d'expliquer au general ce que c'est qu'une montagne*, (сделайте милость, князь, объясните генералу, что такое гора); тот пришпорил лошадь и ускакал.

* * *

Денис Давыдов во время сражения докладывал князю Багратиону, по поручению начальствующего отдельным отрядом, что неприятель на носу. «Теперь, – говорит князь Багратион, – нужно знать, на каком носу: если на твоём, то откладывать нечего и должно идти на помощь; если на моем, то спешить еще ни к чему».

* * *

Е*** говорит, что в жизни должно решиться на одно: на жену или на наемную карету. А если иметь ту и другую, то придется сидеть одному целый день дома без жены и без кареты.

Р. любил выражаться округленными фразами и облекать их в форму афоризмов. Приятель его Киселев (Павел Дмитриевич) сказал ему однажды: «Знаешь ли что? Когда напишу книгу, обещаю тебе, что ты изобразишь эпиграфы на каждую главу».

Дяде Киселева (Федору Ивановичу) предлагали, во время оно, войти в масонское общество. «Благодарю, – отвечал он, – знаю, что общество делится на две ступени: на одной *датусы*, на другой *биратусы*. *Датусом* быть не хочу, а *биратусом* не способен».

* * *

Новые порядки – дело хорошее и естественное явление в ходу и постепенном развитии общества. Но есть люди, которые хотят и требуют новых порядков во что бы то ни стало и не справляясь, есть ли под рукой материалы и зачатки для устройства новых порядков. Это лица такого рода, что они не усомнились бы взять на себя формировку конных полков в Венеции.

* * *

Проезжающий поколотил станционного смотрителя. Подобного рода путевые впечатления не новость. Смотритель был с амбицией. Он приехал к начальству просить дозволения подать на обидчика жалобу и взыскать с него бесчестие. Начальство старалось убедить его бросить это дело и не давать ему огласки. «Помилуйте, ваше превосходительство, – возразил смотритель, – одна пощечина, конечно, в счет не идет, а несколько пощечин в сложности чего-нибудь да стоят».

* * *

На одном из придворных собраний императрица Екатерина обходила гостей и к каждому обращала приветливое слово. Между присутствующими находился старый моряк. По рассеянию случилось, что, проходя мимо него, императрица три раза сказала ему: «Кажется, сегодня холодно?»

«Нет, матушка, ваше величество, сегодня довольно тепло», – отвечал он каждый раз.

«Уж воля Ее величества, – сказал он соседу своему, – а я на правду черт».

* * *

«Никогда я не могла хорошенько понять, какая разница между пушкой и единорогом», – говорила Екатерина II какому-то генералу.

«Разница большая, – отвечал он, – сейчас доложу вашему величеству. Вот извольте видеть: пушка сама по себе, а единорог сам по себе».

«А, теперь понимаю», – сказала императрица.

* * *

Слепой Молчанов (Петр Степанович) слышит однажды у себя за обедом, что на конце стола плачет его маленький внучек и что мать бранит его. Он спрашивает причину тому. «А вот капризничает, – говорит мать, – не хочет сидеть тут, где посадили его, а просится на прежнее место». – «Помилуй, – отвечает Молчанов, – да вся Россия плачет о местах. Как же ему не плакать? Посади его, куда он просится».

Я не знал Молчанова, когда он был, как говорится, в случае и силе. Слышно было, что он считался всемогущим дельцом при князе Н. И. Салтыкове; а князь, в пребывание императора за границей во время войны, был чуть ли не регентом в России. Касательно этой эпохи ничего положительного о Молчанове сказать не могу: я вовсе не знал его, а худого понаслышке ничего сказать не хочу.

Сблизился я с ним уже позднее, когда был он в отставке и слеп. Нашел я в нем человека умного, обхождения самого вежливого и приятного. Отставку и слепоту переносил он бодро

и ясно. Был словоохотлив, говорил и рассказывал с большой живостью и увлекательностью. Многое и многих знал он близко; знал хорошо и сцену света, и актеров, и закулисные таинства и все сохранил он в своей твердой и зеркальной памяти. Искал он беседы с людьми, почему-нибудь известными и достойными внимания. С ними он, так сказать, кокетничал, заискивая их доброе к себе расположение. Он говаривал, что можно всем прикинуться и богатым, и знатным, но умным уж никак не прикинешься, если нет ума.

Между прочими рассказами его особенно значителен один. Он свидетельствует о недоброжелательном и недоверчивом расположении императора Александра к Кутузову и поэтому принадлежит истории. Когда Наполеон в 1812 году шел к Москве, Петербург также был не очень покоен и безопасен. В нем также принимались правительством меры, чтобы заблаговременно вывезти из столицы все драгоценности, государственные дела и проч. Не был забыт и памятник Петра Великого: и он предназначался к упаковке и отправлению в безопасное место водой. И подлинно, слишком было бы грустно старику видеть, как через *прорубленное им окно* влезли в дом его недобрые люди.

Государь поручил спасение памятника особенной распорядительности Молчанова: секретно выдана ему на то из казначейства и надлежащая сумма. Когда, по выходе Наполеона из Москвы, действия наши приняли благополучный оборот и неприятель преследуем был нашими войсками, Молчанов при одном докладе государю напомнил о вверенной ему сумме и спросил, не прикажет ли его величество отдать ее обратно в казначейство. «Ты Кутузова не знаешь, – с живостью прервал его государь, – было бы у него все хорошо, а о других заботиться он не станет. Держи деньги пока у себя на всякий случай».

Когда Дмитриев был министром юстиции, он часто бывал недоволен Молчановым за противодействие его по делам, которые Дмитриев вносил в Комитет Министров. Оно было так для него чувствительно, что он отпросился в отпуск во время отсутствия государя. Позднее, когда он снова поступил в управление министерством, а государь возвратился из Парижа, эти неудовольствия отразились на холодном приеме, оказанном ему императором. Приближенная к государю особа выразила ему сожаление по этому поводу, заметя, что Дмитриев честный человек и пользуется общим уважением. Государь, вероятно, предубежденный князем Салтыковым, сказал на это: «Он слишком горд: не худо дать ему урок». Вскоре после того прекратились и личные министерские доклады государю. Дмитриев тогда вышел в отставку.

Много лет спустя, когда Молчанов и Дмитриев, то есть временный победитель и побежденный, были в отставке, случай свел их в Москве. Жихарев, некогда служивший при Молчанове и преданный Дмитриеву, дал им примирительный обед, при проезде первого через Москву. По крайней мере при последнем пороге жизни очистились они друг перед другом от неприязненных чувств, которые, может быть, пережили в сердцах их и самую пору, и самые причины взаимного недоброжелательства: политические и даже просто служебные разномыслия и пререкания гораздо злопамятнее, нежели сердечные и любовные размолвки.

В то время холера начинала разыгрываться. Молчанов очень боялся ее. По возвращении своем в Петербург он наглухо заперся в своем доме, как в крепости, осажденной неприятелем. Но крепость не спасла. Неприятель ворвался в нее и похитил свою жертву.

* * *

Страх холеры действовал тогда на многих; да, впрочем, по замечанию Д. П. Бутурлина, едва ли на какое другое чувство и могла бы она надеяться.

Граф Ланжерон, столько раз видавший смерть перед собою во многих сражениях, не оставался равнодушным перед холерой. Он так был поражен мыслью, что умрет от нее, что,

еще пользуясь полным здоровьем, написал он духовное завещание, так начинающееся: *умирая от холеры* и проч.

На низших общественных ступенях холера не столько страха внушала, сколько недоверчивости. Простолюдин, верующий в благость Божию, не примиряется с действительностью естественных бедствий: он приписывает их злобе людской или каким-нибудь тайным видам начальства. Думали же в народе, что холера есть докторское или польское напущение.

При первом появлении холеры в Москве один подмосковный священник, впрочем, благоразумный и далеко не безграмотный, говорил: «Воля ваша, а, по моему мнению, эта холера не что иное, как повторение 14 декабря».

* * *

Мы говорили о недоверии императора Александра к Кутузову: вот еще разительный тому пример.

По назначении его главнокомандующим над войсками государь приказал ему приехать к себе в такой-то час в Каменноостровский дворец. Назначенный час пробил, а Кутузова нет. Проходит еще минут пять и более. Государь несколько раз спрашивает, приехал ли он? А Кутузова все еще нет. Рассылаются фельдъегеря во все концы города, чтобы отыскать его. Наконец получается сведение, что он в Казанском соборе слушает заказанный им молебен.

Кутузов приезжает. Государь принимает его в кабинете и остается с ним наедине около часа. Отпуская, провожает его до дверей комнаты, следующей за кабинетом. Тут прощается с ним. Возвращаясь, проходит он мимо графа Комаровского, дежурного генерал-адъютанта, и говорит ему: *Le public a voulu sa nomination; je l'ai nomme: quant a moi, je m'enx lave les mains* (публика хотела назначения его; я его назначил: что до меня касается, умываю себе руки).

Этот рассказ со слов графа Комаровского был передан мне Д. П. Бутурлиным. Правдивость того и другого не подлежит сомнению. Как подобный отзыв ни может показаться сух, странен и предосудителен, но не должно останавливаться на внешности его. Проникнув в смысл его внимательнее и глубже, отыщешь в этих словах чувство тяжелой скорби и горечи. Когда поставлен был событиями вопрос «быть или не быть России», когда дело шло о государственной судьбе ее и, следовательно, о судьбе самого Александра, нельзя же предполагать в государе и человеке бессознательное равнодушие и полное отсутствие чувства, врожденного в каждом, – чувства самосохранения. Государь не доверял ни высоким военным способностям, ни личным свойствам Кутузова. Между тем он превозмог в себе предубеждение и верил ему судьбу России и свою судьбу, верил единственно потому, что Россия веровала в Кутузова. Тяжела должна была быть в Александре внутренняя борьба; великую жертву принес он Отечеству, когда, подавляя личную волю свою и безграничную царскую власть, покорил он себя общественному мнению.

Можно обвинять Кутузова в некоторых стратегических ошибках, сделанных им во время Отечественной войны; но это подлежит разбирательству и суду военных авторитетов. Это вопрос науки и критики. Отечество и народ не входят в подобные исследования. Они видят в Кутузове освободителя родной земли от иноплеменного нашествия: весь суд свой о нем заключают в одном чувстве благодарности.

Нет сомнения, что окончательно и Александр не отказал ему в этом чувстве. Государю не было повода раскаяться, что он послушался народного голоса, который на этот раз, и, может быть, не в пример другим, был точно голос Божий. Еще задолго до 12-го года император, разговаривая о Наполеоне с сестрой своей, великой княжной Марией Павловной, сказал эти замечательные слова: *Il n'y a pas de place pour nous en Europe: tot ou tard, l'un i'autre doit se retirer* (нам обоим нет места в Европе: одному из нас, рано или поздно, должно отступить).

Государь носил в себе предчувствие ее «войны» неминуемости. Все мелкие события, ей предшествовавшие и будто ее вынудившие, были только побочными принадлежностями, каплей, которой переполняется сосуд. В людских суждениях часто останавливаются на этих каплях, забывая о сосуде, который уже полон. Кутузов содействовал императору Александру выйти победителем из первого действия того поединка на жизнь и смерть, который Александр предвидел. Вот место, которое должен занять Кутузов в истории и в благодарной народной памяти.

* * *

Граф Раstopчин рассказывает, что в царствование императора Павла Обольянинов поручил Сперанскому изготовить проект указа о каких-то землях, которыми завладели калмыки или которые у них отнимали (в точности не помню).

Дело в том, что Обольянинов остался недоволен редакцией Сперанского. Он приказал ему взять перо, лист бумаги и писать под диктовку его. Сам начал ходить по комнате и наконец проговорил: «Пишите: «По поводу калмыков и по случаю оные земли»... – тут остановился, продолжал молча ходить по комнате и заключил диктовку следующими словами: – Вот, сударь, как надобно было начать указ. Теперь подите и продолжайте».

Вполне ли верен сей рассказ или немного разукрашен воображениями рассказчика, решить трудно. В правдивости графа Раstopчина нет повода сомневаться; но известно, что анекдотисты, рапсоды, изустные хроникеры, нередко увлекаются словоохотливостью своей: они раскрашивают первобытный рисунок, импровизируют вариации на заданную тему. Обольянинов мог быть небольшой грамотей, но, как слышно, был он человек благоразумный и не лишенный хороших свойств.

* * *

Генерал Головин и барон Розен говорили однажды в Москве А. П. Ермолову, что они собираются в Петербург. «Знаете ли что, любезнейший, – сказал он, – не обождать ли Нейгардта? Он, вероятно, не замедлит приехать: тогда найдем четверместную карету и так вчетвером и отправимся в Петербург».

При нем же говорили об одном генерале, который во время сражения не в точности исполнил данное ему приказание и этим повредил успеху дела. «Помилуйте, – возразил Ермолов, – я хорошо и коротко знал его. Да он, при личной отменной храбрости, был такой человек, что приснился ему во сне, что он в чем-нибудь ослушался начальства, он тут же во сне с испуга бы и умер».

При преобразовании Главного штаба и назначении начальника Главного штаба, в царствование императора Александра, он же сказал, что отныне военный министр должен бы быть переименован в министра провиантских и комиссариатских сил.

* * *

В конце минувшего столетия сделано было распоряжение Коллегией Иностранных Дел, чтобы впредь депеши наших заграничных министров писаны были исключительно на русском языке. Это переполошило многих из наших посланников, более знакомых с французским дипломатическим языком, нежели с русским. Один из них, в разгар Французской революции, писал: гостиницы гозбят безштанниками, что должно было соответствовать французской фразе: *les auberges abondent en sansculote*.

Кстати. Один из наших посланников писал: J'ai jete ma sonde Гоcean se la politique (Я бросил свой лот в океан политики). Граф Растопчин был тогда главноуправляющим по иностранным делам; он отвечал ему: A la suite de votre depeche, j'ai l'honneur de vous annoncer, monsieur, que l'Empereur me charge de vous ordonner de retirer votre sonde et de rentrer dans la coquille du repos (Вследствие донесения вашего, имею честь уведомить вас, милостивый государь, что его величеством поручено мне повелеть вам вытащить свой лот и возвратиться в раковину спокойствия). (Слышано от графа Растопчина.)

* * *

Кем-то было сказано: «Стихи мои, обрызганные кровью». – «Что ж, кровь текла у него из носу, когда писал он их?» – спросил Дмитриев.

* * *

Хвостов сказал: «Суворов мне родня, и я стихи плету». «Полная биография в нескольких словах, – заметил Блудов, – тут в одном стихе все, чем он гордиться может, и стыдиться должен».

* * *

Графиня Толстая, урожденная Протасова, была женщина умная, образованная, но особенно известна своими причудами и оригинальностью. Эти своеобразные личности более и более стираются с общественного полотна. Жаль: они придавали картине блеск и оживление. Новое поколение смотрит с презрением на эти остатки

Времен Очаковских и покоренья Крыма.

Оно замыкается в однообразной важности своей и слышать не хочет о частных исключениях, не подходящих под определенную меру и раму. Что же из этого выходит? По большей части одна плоская скука, и только.

Графиня Толстая говорила, что не желала умереть скоропостижной смертью: как неловко явиться перед Богом запыхавшись. По словам ее, первой заботой ее на том свете будет разведать тайну о железной маске и о разрыве свадьбы графа В. с графиней С, который всех удивил и долго был предметом догадок и разговоров петербургского общества. Наводнение 1824 года произвело на нее такое сильное впечатление и так раздражило ее против Петра I, что, еще задолго до славянофильства, дала она себе удовольствие проехать мимо памятника Петра и высунуть перед ним язык! Когда была воздвигнута колонна в память Александру I, она крепко запретила кучеру своему возить ее в близости колонны: «Неровен час (говорила она), пожалуй, и свалится она с подножия своего».

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.